

Александр Грин

Колония Ланфиер



Александр Грин
Колония Ланфиер

«Public Domain»

1910

Грин А. С.

Колония Ланфиер / А. С. Грин — «Public Domain», 1910

«Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрятала его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кружочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; безветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорослями и солью...»

Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	16
V	20
VI	25
VII	29
VIII	32
IX	36

Александр Грин

Колония Ланфиер

*Подобно моряку,
Плывущему через Юрский пролив,
Не знаю, куда приду я
Через глубины любви.*

Иоситада, японец

I

Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрятала его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кружочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; безветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорослями и солью.

– Шесть тысяч тонн, – сказал Дрибб, опуская свой палец. – Пальмовое и черное дерево. Скажи, Гупи, нуждаешься ты в черном дереве?

– Нет, – возразил фермер, введенный в обман серьезным тоном Дрибба. – Это мне не подходит.

– Ну, в атласной пальмовой жердочке, из которой ты мог бы сделать дубинку для своего будущего наследника, если только спина его окажется пригодной для этой цели?

– Отстань, – сказал Гупи. – Я не нуждаюсь ни в каком дереве. И будь там пестрое или малиновое дерево, – мне одинаково безразлично.

– Дрибб, – проговорил третий колонист, – вы, кажется, хотели что-то сказать?

– Я? Да ничего особенного. Просто мне показалось странным, что барок, груз которого совершенно не нужен для нашего высокочтимого Гупи, бросил якорь. Как вы думаете, Астис?

Астис задумчиво потянул носом, словно в запахе моря скрывалось нужное объяснение.

– Небольшой, но все-таки крюк, – сказал он. – Путь этого голландца лежал южнее. А впрочем, его дело. Возможно, что он потерпел аварию. Допускаю также, что капитан имеет особые причины поступать странно.

– Держу пари, – сказал Дрибб, – что его маленько потрепало в Архипелаге. Если же не так, то здесь открывается мебельная фабрика. Вот мое мнение.

– Пари это вы проиграете, – возразил Астис. – Месяц, как не было ни одного шторма.

– Я, видите ли, по мелочам не держу, – сказал, помолчав, Дрибб, – и меньше десяти фунтов не стану мараться.

– Согласен.

– Что же вы утверждаете?

– Ничего. Я говорю только, что вы ошибаетесь.

– Никогда, Астис.

– Сейчас, Дрибб, сейчас.

– Вот моя рука.

– А вот моя.

– Гупи, – сказал Дрибб, – вы будете свидетелем. Но есть затруднение: как нам удостовериться в моей правоте?

– Какая самоуверенность! – насмешливо отозвался Астис. – Скажите лучше, как доказать, что вы ошиблись?

Наступило короткое молчание. Дрибб заявил:

– В конце концов, нет ничего проще. Мы сами поедem на барок.

– Теперь?

– Да.

– Стойте! – вскричал Гупи. – Или мне послышалось, или гребут. Помолчите одну минуту.

В глубокой сосредоточенной тишине слышались протяжные всплески, звук их усиливался, равномерно отлетая в бархатную пропасть моря.

Дрибб встрепенулся. Его любопытство было сильно возбуждено. Он топтался на самом обрыве и тщетно силился рассмотреть что-либо.

Астис, не выдержав, закричал:

– Эй, шлюпка, эй!

– Вы несносный человек, – обиделся Гупи. – Вы почему-то думаете, что умнее всех. Один бог знает, кто из нас умнее.

– Они близко, – сказал Дрибб.

Действительно, шлюпка подошла настолько, что можно было различить хлюпанье водяных брызг, падающих с весла. Зашуршал гравий, послышались медленные шаги и разговор вполголоса. Кто-то взбирался по тропинке, ведущей с отмели на обрыв спуска. Дрибб крикнул:

– Эй, на шлюпке!

– Есть! – ответили внизу с сильным иностранным акцентом. – Говорите.

– Лодка с голландца?

Колонист не успел получить ответа, как незнакомый, вплотную раздавшийся голос спросил его в свою очередь:

– Это вы так кричите, приятель? Я удовлетворю ваше законное любопытство: шлюпка с голландца, да.

Дрибб повернулся, слегка оторопев, и вытаращил глаза на черный силуэт человека, стоявшего рядом. В темноте можно было заметить, что неизвестный плечист, среднего роста и с бородой.

– Кто вы? – спросил он. – Разве вы оттуда приехали?

– Оттуда, – сказал силуэт, кладя на землю порядочный узел. – Четыре матроса и я.

Манера говорить не торопясь, произнося каждое слово отчетливым, хлестким голосом, произвела впечатление. Все трое ждали, молча рассматривая неподвижно черневшую фигуру. Наконец Дрибб, озабоченный исходом пари, спросил:

– Один вопрос, сударь. Барок потерпел аварию?

– Ничего подобного, – сказал неизвестный, – он свеж и крепок, как мы с вами, надеюсь.

При первом ветре он снимается и идет дальше.

– Я доволен, – радостно заявил Астис. – Дрибб, платите проигрыш.

– Я ничего не понимаю! – вскричал Дрибб, которого радость Астиса болезненно резнула по сердцу. – Гром и молния! Барок не увеселительная яхта, чтобы тыкаться во все дыры... Что ему здесь надо, я спрашиваю?..

– Извольте. Я уговорил капитана высадить меня здесь.

Астис недоверчиво пожал плечами.

– Сказки! – полувопросительно бросил он, подходя ближе. – Это не так легко, как вы думаете. Путь в Европу лежит южнее миль на сто.

– Знаю, – нетерпеливо сказал приезжий. – Лгать я не стану.

– Может быть, капитан – ваш родственник? – спросил Гупи.

– Капитан – голландец, уже поэтому ему трудно быть моим родственником.

– А ваше имя?

– Горн.

– Удивительно! – сказал Дрибб. – И он согласился на вашу просьбу?

– Как видите.

В его тоне слышалась скорее усталость, чем самоуверенность. На языке Дрибба вертелись сотни вопросов, но он сдерживал их, инстинктом чувствуя, что удовлетворению любопытства наступили границы. Астис сказал:

– Здесь нет гостиницы, но у Сабо вы найдете ночлег и еду по очень сходной цене. Хотите, я провожу вас?

– Я в этом нуждаюсь.

– Дрибб... – начал Астис.

– Хорошо, – раздраженно перебил Дрибб, – вы получите 10 фунтов завтра, в восемь часов утра. До свидания, господин Горн. Желаю вам устроиться наилучшим образом. Пойдем, Гупи.

Он повернулся и зашагал прочь, сопровождаемый свиноводом.

– Теперь я держу пари, что с Дрибба получить придется только с помощью увесистой ругани. Господин Горн, я к вашим услугам.

Астис протянул руку, повернулся и удивленно прищелкнул языком. Он был один.

– Горн! – позвал Астис.

Никого не было.

II

Цветущие, низкорослые заросли южных холмов дымились тонкими испарениями. Расплавленный диск солнца стоял над лесом. Небо казалось голубой, необъятной внутренностью огромного шара, наполненного хрустальной жидкостью. В темной зелени блестела роса, причудливые голоса птиц звучали как бы из-под земли; в переливах их слышалось томное, ленивое пробуждение.

Горн шагал к западу, стремясь обойти цепь оврагов, заполнявших пространство между колонией и северной частью леса. Старый кольцовский штуцер покачивался за его спиной. Костюм был помят – следы ночи, проведенной в лесу. Шел он ровными, большими шагами, тщательно осматриваясь, разглядывая расстояние и почву с видом хозяина, долго пробывшего в отсутствии.

Юное тропическое утро охватывало Горна густым дыханием сочной, мясистой зелени. Почти веселый, он думал, что жить здесь представляет особую прелесть дикости и уединения, отдыха потревоженных, невозможного там, где каждая пядь земли захватана тысячами и сотнями тысяч глаз.

Он миновал овраги, гряду базальтовых скал, похожих на огромные кучи каменного угля, извилистый перелесок, опоясывающий холмы, и вышел к озеру. Места, только что виденные, не удовлетворяли его. Здесь не было концентрации, необходимого и гармонического соединения пространства с лесом, гористостью и водой. Его тянуло к уютности, полноте, гостеприимству природы, к тенистым, прихотливым углам. С тех пор, как будущее перестало существовать для него, он сделался строг к настоящему.

Зной усиливался. Тишина пустыни прислушивалась к идущему человеку; в спокойном обаянии дня мысли Горна медленно уступали одна другой, и он, словно читая книгу, следил за ними, полный сосредоточенной грусти и несокрушимой готовности жить молча, в самом себе. Теперь, как никогда, чувствовал он полную свою оторванность от всего видимого; иногда, погруженный в думы и резко пробужденный к сознанию голосом обезьяны или шорохом пробежавшей лирохвостки, Горн подымал голову с тоскливым любопытством, – как попавший на другую планету, – рассматривая самые обыкновенные предметы: камень, кусок дерева, яму, наполненную водой. Он не замечал усталости, ноги ступали механически и деревенели с каждым ударом подошвы о жесткую почву. И к тому времени, когда солнце, осилив последнюю высоту, сожгло все тени, затопив землю болезненным, нестерпимым жаром зенита, достиг озера.

Мохнатые, разбухшие стволы, увенчанные гигантскими, перистыми пучками, соединялись в сквозные арки, свесившие гирлянды ползучих растений до узловатых корней, сведенных, как пальцы гнома, подземной судорогой, и папоротников, с их нежным, изящным кружевом резных листьев. Вокруг стволов, вскидываясь, как снопы зеленых ракет, склонялись веера, зонтики, заостренные овалы, иглы. Дальше, к воде, коленчатые стволы бамбука переплетались, подобно соломе, рассматриваемой в увеличительную трубу. В просветах, наполненных темно-зеленой густой тенью и золотыми пятнами солнца, сверкали крошечные, голубые кусочки озера.

Раздвигая тростник, Горн выбрался к отмели. Прямо перед ним узкой, затуманенной полосой тянулся противоположный берег; голубая, стального оттенка поверхность озера дымилась, как бы закутанная тончайшим газом. Справа и слева берег переходил в обрывистые холмы; место, где находился Горн, было миниатюрной долиной, покрытой лесом.

Сравнивая и размышляя, Горн бросил на песок кожаную сумку и сел на нее, отдавшись рассеянному покою. Место это казалось ему подходящим, к тому же нетерпение приступить к работе решило вопрос в пользу берега. Он видел квадратную, расчищенную площадку и легкое

здание, скрытое со стороны озера стеной бамбука. С помощью одного топора, посредством крайнего напряжения воли, он надеялся создать угол, свободный от нестерпимого соседства людей и липких, чужих взглядов, после которых хочется принять ванну.

Посреди этих размышлений, стирая картины предстоящей работы, вспыхнула старая, на время притупленная боль, увлекая воображение к титаническим городам севера. Тысячемильные расстояния сокращались, как лопнувшая резина; с раздражающей отчетливостью, обхватив колена красными от загара руками, Горн видел сцены и события, центром которых была его воспаленная, запятанная душа. Остановившимся, потемневшим взором смотрел он на застывшие в определенном выражении черты лиц, матовый лоск паркета, занавеси окна, вздуваемые ветром, и тысячи неодушевленных предметов, напоминающих о страдании глубже, чем самая причина его. Светлый, бронзовый канделябр с оплывающими свечами горел перед ним, похищая у темноты маленькую, окаймленную кружевом руку, протянутую к огню, и снова, как несколько лет назад, слышался стук в дверь – громкое и в то же время немое требование...

Горн встряхнул головой. На одно мгновение он сделался противен себе, напоминая ампутированного, сдергивающего повязку, чтобы взглянуть на омертвевший разрез. Томительная тишина берега походила на тишину больничных палат, вызывающую в нервных людях потребность кричать и двигаться. Чтобы развлечься, он приступил к работе. Он чувствовал настоящую мускульную тоску, желание утомляться, поды мать тяжести, разрубать, вколачивать.

И с первым же ударом синеватой английской стали в упругий ствол бамбука Горн загорелся пароксизмом энергии, неистовством напряжения, жаждущего подчинять материю непрерывным градом усилий, следующих одно за другим в возрастающем сладострастии изнеможения. Не переставая, валил он ствол за стволом, обрубал листья, ломал, отмеривал, копал ямы, вбивал колья; с глазами, полными зеленой пестроты леса, с душой, как бы оцепеневшей в звуках, производимых его собственными движениями, он погружался в хаос физических ощущений. Грудь ломило от учащенного дыхания, едкий пот зудил кожу, ладони рук горели и покрывались водяными мозолями, ноги наливались отяжелевшей венозной кровью, острая боль в спине мешала выпрямиться, все тело дрожало, загнанное лихорадочной жаждой убить мысль. Это было опьянение, оргия изнурения, иступление торопливости, наслаждение насильем. Голод, подавленный усталостью, действовал, как наркотик. Изредка, мучаясь жаждой, Горн бросал топор и пил холодную солоноватую воду озера.

Когда легли тени и вечерняя суматоха обезьян возвестила о приближении ночи, маленькая, дикая коза, пришедшая к водою, забилась в камыше, подстреленная пулей Горна. Огонь был поваром. Дымящиеся, полусожженные куски мяса пахли травой и кровавым соком. Горн ел много, работая складным ножом с такой же ловкостью, как когда-то десертной ложкой.

Насыщаясь, охваченный растущей темнотой, пронизанной красным отблеском тускнеющих, сизоватых углей костра, Горн вспомнил барок. С корабельного борта его дальнейшее существование казалось ему загадочной сменой дней, полных неизвестности и однообразия, растительным ожиданием смерти, сменяемым изредка приступами тяжелой тоски. Он как бы видел себя самого, маленькую человеческую точку, с огромным, заключенным внутри миром, – точку, окрашивающую своим настроением все, схваченное сознанием.

Пряная сырость сгушалась в воздухе, мелодия лесных шорохов плела тонкое кружево насторожившейся тишины, прелый, сладковатый запах оранжереи поддерживал возбуждение. Мысли бродили вокруг начатой постройки, возвращаясь и к океану и к отрывочным представлениям прошлого, утратившего свою остроту в чувстве полной разбитости. Приближался тяжелый, мертвый сон, веяние его касалось ресниц, путало мысли и невидимой тяжестью проникало в члены.

Последний уголь, потрескивая, разгорелся на одно мгновение, приняв цвет раскаленного железа, осветив ближайшие, свернувшиеся от жары стебли, и померк. И вместе с ним отлетел в бархатную черноту дух Огня, веселый, прыгающий дух пламени.

Крик рыси тревожно прозвучал на холме, стих и, снова усиливаясь, раздался жалобной, протяжной угрозой. Горн не слышал его, он спал глубоким, похожим на смерть, сном – истинное счастье земли, царства пыток.

Через пять дней на ровной четырехугольной площадке, гладко утрамбованной и обнесенной изгородью, стоял небольшой дом с односкатной крышей из тростника и окном без стекол, выходящим на озеро. Устойчивая, самодельная мебель состояла из койки, стола и скамеек. В углу высился земляной массивный очаг.

Кончив работу, согнувшийся и похудевший Горн, пошатываясь от изнурения, пробрался узкой полосой отмели к подножию холма, достиг вершины и осмотрелся.

На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников. На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей в город, по краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся издали крошечными, как побеги салата. На западе, облекая изрытую оврагами и холмами равнину, тянулась синяя, сверкающая белыми искрами гладь далекого океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо посаженной зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер.

III

Туземная двухколесная тележка переехала дорогу под самым носом Гупи. Миновав облако едкой пыли, Гупи увидел незнакомого человека, шагавшего навстречу, и невольно остановился. Этого человека он не помнил, но в то же время как будто встречал его. Смутное воспоминание о голландском бароке подстрекнуло природное любопытство Гупи, он снял шляпу и поклонился.

– Э! – сказал Гупи, прищуриваясь. – Вы из города?

– Еще не был в городе, – возразил Горн, сдержав шаг, – и едва ли пойду туда.

– Ну да, ну да! – осклабился Гупи. – Я так и думал. Я узнал вас по голосу. Неделю назад вы высадились в маленькой бухте, так ведь?

– Я высадился в маленькой бухте, это верно, – проговорил, соображая, Горн, – но я не думаю, чтобы встречался с вами.

Гупи захохотал, подмигивая.

– Астис и Дрибб держали пари, – сказал он, успокаиваясь. – Я ушел с Дриббом, Астис уверял всех, что вы провалились сквозь землю. Сыграли вы шутку с ним, черт побери!

– Теперь я, кажется, припоминаю, – сказал Горн. – Да, я несомненно чувствовал ваше присутствие в темноте.

– Вот, вот! – закивал Гупи, потев от удовольствия поболтать. – А почему вы не пошли с Астисом?

– Скажу правду, – улыбнулся Горн, – откровенно говоря, мне было совестно затруднять столь почтенных людей. Другой солгал бы вам и сказал, что все вы показались ему глупыми, болтливыми и чересчур любопытными, но я – другое дело. Чувствуя расположение к вам, я не хочу лгать.

Он произнес это с совершенно спокойным выражением лица, и Гупи, приняв за чистую монету замаскированное оскорбление, расплылся в самодовольной улыбке.

– Ну, ну, – снисходительно возразил он, – велика важность! А вы, честное слово, хороший парень, вы мне нравитесь. Моя ферма в полумиле отсюда; кусок жареной свинины и стакан пива, а? Что вы на это скажете?

– Пойдемте, – согласился, помолчав, Горн. Самоуверенные манеры колониста забавляли его, он спросил: – Сколько у вас жителей?

– Много, – пропыхтел Гупи, взмахивая рукой. – С тех пор, как парходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепетывают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отвыкнуть.

Лабиринт зеленых изгородей, полный сухой пыли, змеился по отлогому возвышению. Ноги Горна по щиколотку увязали в красноватом песке; пыль щекотала ноздри. Гупи рассказывал:

– Женщин здесь встретите реже, чем змей. В прошлом году на прачку, выехавшую сюда за сто миль, устроили настоящий аукцион. Посмотрели бы вы, как она, подбоченившись, стояла на прилавке «Зеленой раковины»! Три человека переманивали ее друг у друга и в конце концов пошли на уступки: одного разыскали в колодце... а двое так и живут с ней.

Гупи перевел дух и продолжал далее. По его словам, не более половины жителей имели семейства и жили с белыми женщинами, остальные довольствовались туземками, соблазненными перспективой безделья и цветной тряпкой, в то время как отцы их валялись рядом с бутылками, оставленными сметливым женихом.

Пришлое население, почти все бывшие ссыльные или дети их, дезертиры из отдаленных колоний, люди, стыдившиеся прежнего имени, проворовавшиеся служащие – вот что сгрудил

лось в количестве ста дымовых труб около первоначального крошечного поселка, основанного двумя бывшими каторжниками. Один умер, другой еще таскал из дома в дом свое изможденное пороками дряхлое тело, здесь ужиная, там обедая и везде хныкая об имуществе, проигранном в течение одной ночи более удачливому мерзавцу.

– Вот дом, – сказал Гупи, протягивая негнушущуюся ладонь фермера к высокому, напоминающему башню строению. – Это мой дом, – прибавил он. В лице его легла тень тупой важности. – Хороший дом, крепкий. Хотя бы для губернатора.

Высокая изгородь тянулась от двух углов здания, охватывая кольцом невидимое снаружи пространство. Заложив руки в карманы и задрал голову, Гупи прошел в ворота.

Горн осмотрелся, пораженный своеобразным величием свиного корыта, царствовавшего в этом углу. Раскаленная духота двора дышала нестерпимым зловонием, мириады лоснящихся мух толклись в воздухе; зеленоватая навозная жижа липла к подошвам, визг, торопливое хрюканье, острый запах свиных туш – все это разило трепетом грязного живого мяса, скученного на пространстве одного акра. Толстые, желтые туловища двигались во всех направлениях, трясясь от собственной тяжести. Двор кишел ими; огромные, с черной щетиной, борова, нескладные, вихляющиеся подростки, розовые, чумазные поросята, беременные, вспухшие самки, изнемогающие от молока, стиснутого в уродливо отвисших сосцах, – тысячи крысиных хвостов, рыла, сверкающие клыками, разноголосый, режущий визг, шорох трущихся тел – все это пробуждало тоску по мылу и холодной воде. Гупи сказал:

– А вот это мои свинки! Каково?

– Недурно, – ответил Горн.

– Каждый месяц продаю дюжины две, – оживился Гупи, с наслаждением раздувая ноздри. – Это самые спокойные животные. И возни почти никакой. Иногда, впрочем, они пожирают маленьких – и тут уже смотри в оба. Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножечко пообчистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится.

– Свиньи красивы, – сказал Горн.

Гупи потер лоб и сморщился. Горн раздражал его, у этого человека был такой вид, как будто он много раз видел свиней и Гупи.

– Я собирался уйти, – заговорил Горн, – но вспомнил, что хочу пить. Если у вас есть вино – хорошо, нет – не надо.

– Есть туземное пиво, «сахха». – Гупи дернулся по направлению к дому. – Из саго. Не пили? Попробуйте. Вскружит голову, как Эстер.

Неуютная, почти голая комната, куда вошел Горн, смягчалась ослепительным блеском неба, врывающегося в окно; на его синем четырехугольнике толпились остроконечные листья и перистые верхушки роци. Гупи схватил палку и громко треснул ею об стол.

Полуголое существо, с прической, напоминающей папские тиары, вышло из боковой двери. Это была женщина. Плечи ее прикрывал бумажный платок. Темное лицо с выпуклыми, как бы припухшими губами неподвижно осматривало мужчин.

– Дай пива, – коротко бросил Гупи, усаживаясь за стол.

Горн сел рядом. Женщина с темным телом внесла кувшин, кружки и не уходила. Продолговатые быстрые глаза ее скользили по рукам Горна, костюму и голове. Она была не старше восемнадцати лет; грубую миловидность ее приплюснутого лица сильно портила блестящая жестяная дужка, протетая в ухо.

– Не торчи здесь, – сказал Гупи. – Уйди.

Верхняя губа девушки чуть-чуть приподнялась, блеснув полоской зубов. Она вышла, сонно передвигая ногами.

– Я с ней живу, – объяснил Гупи, высасывая стакан. – Идиотка. Они все идиоты, хуже негров.

– Я думал, что у вас нет... женщины, – сказал Горн.

– Женщины у меня нет, – подтвердил Гупи. – Я не женат и любовниц не завожу.

– Здесь только что была женщина. – Горн пристально посмотрел на Гупи. – А может быть, я ошибся...

Гупи расхохотался.

– Женщинами я называю белых, – гордо возразил он, поуспокоившись и принимая несколько презрительный тон. – А это... так. Я не старик... понимаете?

– Да, – сказал Горн.

Он сидел без мыслей, рассеянный; все окружающее казалось ему острым и кислым, как вкус «сахха». Гупи боролся с отрыжкой, смешно оттопыривая щеки и выкатывая глаза.

Пиво кружило голову, холодной тяжестью наливаясь в желудок. Синий квадрат неба веял грустью. Горн сказал:

– Кружит голову, как Эстер... Вы, кажется, так выразились.

– Вот именно, – кивнул Гупи. – Только Эстер не выпьешь, как эту кружку. Дочь Астиса. Несчастье здешних парней. Когда молодой Дрибб женится, у него будет врагов больше, чем у нас с вами. Сегодня пятница, и она придет. Если увидите, не делайте глупое лицо, как все прочие, это ей не в диковину.

– Я посмотрю, – сказал Горн. – Люди мне еще интересны.

– Вот вы, – Гупи посмотрел сбоку на Горна, – вы мне нравитесь. Но вы все молчите, черт побери! Как вы думаете жить?

Горн медленно допил кружку.

– В лесах много еды, – улыбнулся он, рассматривая переносицу собеседника. – Жить-то я буду.

– А все-таки, – продолжил Гупи. – Возиться с ружьем и местными лихорадками... Клянись боровом, вы исхудаете за один месяц.

Горн нетерпеливо пожал плечами.

– Это неинтересно, – сказал он, – к тому же мне пора трогаться. Кофе и порох ждут меня, а я засиделся.

– Не торопитесь! – вскричал Гупи, краснея от замешательства при мысли, что Горн так-таки и остался нем. – Разве вам одному веселее?

Горн не успел ответить; Гупи, скорчив любезнейшую гримасу, повернулся к стукнувшей двери с выражением нетерпеливого ожидания.

– Повернитесь, Горн, – сказал он, блестя маленькими глазами. – Пришла кружительница голов, – да ну же, какой вы неповоротливый!

Ироническая улыбка Горна растаяла, и он, с серьезным лицом, с кровью, медленно отхлынувшей к сердцу, рассматривал девушку. Мысль о красоте даже не пришла ему в голову. Он испытывал тяжелое, болезненное волнение, как раньше, когда музыка дарила его неожиданными мелодиями, после которых хотелось молчать весь день или выпить.

– Гупи, вам нужно подождать, – сказала Эстер, взглядывая на Горна. Посторонний смущал ее, заставляя придавать голосу бессознательный оттенок высокомерия. – У отца нет денег.

Гупи позеленел.

– Шути, моя красавица! – прошипел он, неестественно улыбаясь. – Клади-ка то, что спрятала там... ну!

– Мне шутить некогда. – Эстер подошла к столу и уперлась ладонями о его край. – Нет и нет! Вам нужно подождать с месяц.

И в тот короткий момент, когда Гупи набирал воздух, чтобы выругаться или закричать, девушка улыбнулась. Это было последней каплей.

– Радуйся! – закричал Гупи, вскакивая и бегая. – Ты смеешься! А даст ли мне твой отец хоть грош, когда я буду околевать с голода? Я роздал тысячи и должен теперь ждать! Клянусь головой бабушки, мне надоело! Я подаю в суд, слышишь, вертушка?

Горн встал.

– Я не хочу мешать, – сказал он.

– Эстер, – заговорил Гупи, – вот человек из страны честных людей, – спроси-ка его, можно ли не держать слова?

Девушка пристально посмотрела в лицо Горна. Смущенный, он повернул голову; эти матовые, черные глаза как будто приближались к нему. Гупи ерошил волосы.

– Прощайте, – сказал Горн, протягивая руку.

– Приходите, – проворчал Гупи, – но вы меня беспокоите. Ах, деньги, деньги! – Он сделал усилие и продолжал: – Надеюсь, вы сделаетесь поразговорчивее. Если бы вы взяли участок!

Горн вышел во двор и, остановившись, прислушался. Сверху доносились возбужденные голоса. Он тронулся, попадая в лужи воды и слякоть, истыканную ногами.

Торопливое дыхание заставило его обернуться. Эстер шла рядом, слегка придерживая короткую полосатую юбку и оживленно размахивая свободной рукой. Горн молчал, подыскивая слова, но она предупредила его:

– Вы тот самый, что высадился неделю назад?

У нее был чистый и медлительный голос, звуки которого, казалось, пронизывали все ее тело, выражая лицом и взглядом то же, что говорит рот.

– Тот самый, – подтвердил Горн. – А вы – дочь Астиса?

– Да. – Эстер поправила косы, сбившиеся под остроконечной туземной шляпой. – Но жить здесь вам не придется.

Горн улыбнулся так, как улыбаются взрослые, слушая умных детей.

– Почему?

– Здесь работают. – Высокие брови девушки задумчиво напряглись. – У вас руки, как у меня.

Она вытянула свои украшенные кольцами руки, смуглые и маленькие, и тотчас же их опустила. Она сравнивала этого человека с дюжими молодцами ферм.

– Вам нечего делать здесь, – решительно сказала она. – Вы из города и кажетесь господином. Здесь нет ничего хорошего.

– Есть, – серьезно возразил Горн. – Озеро. И мой дом там.

Она даже остановилась:

– Дом? Там жили пять лет назад, но все выго рело.

– Эстер, – сказал Горн, – теперь вы видите, что и я умею работать. Я создал его в шесть дней, как бог – небо и землю.

Они вышли за изгородь, напутствуемые оглушительным хрюканьем, и шли рядом, погружая ноги в горячий красноватый песок. Эстер засмеялась медленным, как и ее голос, смехом.

– Горожане любят шутить.

– Нет, я не вру. – Горн повернул голову и коротко посмотрел в яркое лицо девушки. – Да, я буду здесь жить. Без дела.

Он видел ее полураскрытый от уважения рот, удивленные глаза и чувствовал, что ему не скучно. Наступило молчание.

Клуб пыли, сверкающий босыми пятками и бронзовым телом, мчался наперерез. Горн задержал шаги. Пыль улеглась; что-то невообразимо грязное и изодранное топталось перед ним, размахивая длинными, как у обезьяны, руками. Эти странные телодвижения сопровождались сильными выкриками и вздохами, похожими на рыдания.

– Бекеко, – сказала девушка. – Не бойтесь, это Бекеко. Он дурачок, смирный парень... Бекеко, ты что?

Разбухшая, с плешинами, голова тыкалась в юбку девушки. Бекеко радовался, по временам прекращая свои ласки и прилипая к Горну неподвижными белесоватыми глазами. Он был противен и возбуждал холодное сожаление. Горн отошел к изгороди.

– Бекеко, иди домой, тварь! – вскричала Эстер, заметив, что дурак старается ущипнуть ее руку.

Идиот выпрямился, смеясь и повизгивая, как собака.

– Эстер, – сказал он, не переставая топтаться, – я хочу набрать много полосатых юбок и все принесу тебе. У меня все колет за щекой!

Эстер сделала испуганное лицо.

– Огонь! – вскричала она. – Бекеко, огонь!

Впечатление этих слов было убийственно. Скорчившись, Бекеко упал, охватив голову руками и вздрагивая. Спина его тяжело вздымалась и опускалась.

– Зачем это? – спросил Горн, рассматривая упавшего.

– Так, – сказала Эстер. – С ним нельзя. Он привяжется, как собака, и будет ходить за вами, пока не скажешь одно слово: «огонь». Его кормил брат, но как-то сгорел, пьяный. Дурак боится огня больше побоев. Я вижу его редко, он больше слоняется по болотам и ест неизвестно что.

Горн закурил трубку.

– Я знал, что вы существуете, – сказал он, вдавливая пепел, – раньше, чем вы пришли.

Девушка блеснула улыбкой.

– От Гупи, – протянула она. – Он говорит: это кружильница голов.

– Да, – повторил Горн, – вы – кружильница голов.

Он снова посмотрел на нее: ни тени смущения. Лицо ее не выражало ни кокетства, ни благодарности, и он сам испытал некоторое замешательство, затянувшись табаком глубже, чем обыкновенно.

– Я живу там, – сказала девушка, показывая налево, – где желтая крыша. Отец любит гостей. Вам куда?

– Кофе, табак и порох, – сказал Горн, загибая три пальца. – Я иду к ним.

– К Сабо, – поправила девушка. – У вас штуцер?

– Да.

Эстер кивнула глазами.

– У меня карабин, – сказала она. – Но здесь трудно достать патроны, мы ездим в город. Я целюсь снизу и попадаю без промаха.

– Вы хотите сказать, что не уверены в том же относительно меня, – произнес Горн. – Но я не застенчив. Отойдите вправо.

Он вынул револьвер и, смеясь, поклонился девушке.

– Ведь вам в ту сторону? Шагах в тридцати отсюда вы видите тоненький ствол? Идя мимо, остановитесь, и если в нем отыщете пулю – обернитесь.

Теперь он видел спину Эстер, удаляющийся черноволосый затылок и, прицелившись, едва не чихнул от солнца, заигравшего на отполированной стали револьвера. Удар выстрела опустил его руку. Эстер шла, тихонько покачиваясь, и остановилась у дерева.

Обернувшись, она весело махнула рукой, и снова Горну почудилось, что глаза ее, отделившись, плывут в воздухе.

IV

Никто не будил Горна, он поднялся сам, внезапно с полной отчетливостью сознания, без сонной вялости тела, без зевоты, как будто не спал, а ждал, лежа с закрытыми глазами.

Спокойный, слегка недоумевающий, он попытался дать себе представление о причинах, так бесследно вернувших его к сознанию. Розовый хмель утра дышал в окно влажным туманом, солоноватой прелью отелей и молчаньем шорохов, неуловимых, как шаг мысли засыпающего человека. Озеро дымилось. Колеблющиеся испарения устилали поверхность, обнажая у берегов светлые, голубые лужицы заснувшей воды.

Горн стоял у окна, растворившись в мелодичной тишине спящего воздуха. На ясном, с закрытыми глазами, лице рассвета плавился блестящий край диска; облачные холмы плыли за горизонт, паутиная резьба леса затягивала другой берег, и Горн подумал, что это могли быть толпы зеленых рыцарей, спящих стоя. Копья, на которые они опирались, были украшены неподвижными зелеными перьями.

Вдруг все изменилось, бесчисленные лучи градом золотых монет рассыпались по земле; вода заблестела ими, некоторые легли у ног Горна, прозрачные, кованые из света и воздуха. Зелень, стеклянная от росы, сох ла на глазах Горна. Комочки побуревших цветов бухли и наливались красками, распрямляясь, как вздрагивающие пальцы ребенка, протянутые к игрушке. Густой запах земли щекотал ноздри. Зеленые, голубые, коричневые и розовые оттенки облили стволы бамбука, трепеща в тканях листвы спутанными тенями, и где-то невдалеке горло лесной птицы бросило низкий свист, неуверенный и оборванный, как звук настраиваемого инструмента.

Горн стоял, налитый до макушки, подобно пустой бутылке, зеленым вином земли, потягивающейся от сна. Молоко, брызжущее из нежной, переполненной груди невидимой женщины, невидимо падало на его губы, и он представлял ее, ловил ее посланную небу улыбку и шурился от золотой паутины, заткавшей мир. Душа его раздвоилась, он мог бы засмеяться, но не хотел, готов был поверить зеленым рыцарям, но делал усилие и перебивал их тихие голоса настойчивыми воспоминаниями.

Спор Горна с Горном оборвался так же быстро и резко, как резко скрипнула дверь, медленно открываемая снаружи. Щель увеличивалась, человек, тянувший ее, стоял ближе к углу и не был виден.

Горн ждал, неуверенный, что там кто-нибудь есть. Дверь отворялась сама и раньше; это происходило от небольшой кривизны петель. Инстинктивно, больше из любопытства, чем осторожности, он устремил взгляд на ту точку, где, скорее всего, мог ожидать встретить человеческие глаза.

Но следующий момент заставил его взглянуть ниже. Глаз и часть лба, опутанного белыми волосами, появились на уровне четырех футов снизу; кто-то заглядывал, согнувшись, юркнул за дверь и почти тотчас же показался вновь.

Человек этот, покачнувшись, прошел в дверь, притворил ее и, неуклюже мотнув головой, уставился в лицо Горна глазами, пестрыми от морщин и красных жилок. По-видимому, он был пьян.

Прямой, как жердь, с тупым, неподвижным блеском выцветших глаз, в лохмотьях и босиком, он мог бы отлично сойти за черта, прикинувшегося нищим. В нескольких шагах расстояния руки его казались синими, как у мертвеца, но, подойдя вплотную, можно было рассмотреть сплошной рисунок татуировки, покрывавшей все тело, от шеи до пояса. Змеи, японские драконы, флаги, корабли, надписи, неприличные сцены, цинические изображения теснились друг к другу на груди и руках, мешаясь с белесоватыми рубцами шрамов. На шее мотался шарф, превращенный грязью и временем в кусок веревки. Рваная тулья шляпы прикрывала остроко-

нечные, как у волка, уши и лицо цвета позеленевшей бронзы. Нос, перебитый палочным ударом, хмуро кривился вниз. Куртка, лишенная рукавов, открывала голую грудь. От всей этой фигуры веяло подозрительным прошлым, темными закоулками сердца, притонами, блеском ножей, хриплой злобой и человеческой шерстью, иногда более жуткой, чем мех тигра. Старик, что называется, пожил.

– Что скажете? – спросил Горн. Он был несколько озадачен. Фигура эта не внушала ему доверия. Странная, как обрывок сна, она переминалась с ноги на ногу.

– Что скажете? – пробормотал оборванец, подмигивая и слясь держаться прямо. – Если вы спросите меня – кто я? – я вам отвечу честно и откровенно. Как хотите, а любопытно взглянуть на человека, живущего вроде вас. Я сам так жил... сам... лет тридцать тому назад я прятался на безлюдном атолле от дьявольски любопытных кэпи. Они, правда, взяли свое... потом... о! – спустя много времени.

Старик брызгал слюной, и в его высохшем, словно передавленном горле катался желвак. Горн спросил:

– Как вас зовут?

– Ланфиер, – захрипел гость. – Ланфиер, если вам это будет угодно.

Горн сосредоточенно кивнул головой. Старик показался ему забавным, важность, с которой он назвал себя, таила неискреннее и хитрое ожидание. Горн сказал:

– А я – Горн.

Ланфиер сильно расхохотался.

– Горн? – переспросил он, подмигивая левым глазом, в то время как правый тускнел, поблескивая зрачком. – Ну, да – Горн, конечно, кем же вы можете еще быть.

Горн нахмурился, развязность каторжника пробудила в нем легкое нетерпение.

– Я, – сказал он, – могу быть еще другим. Человеком, который не привык вставать рано. А вы, кроме того, что вы Ланфиер, можете быть еще человеком, только случайно заставшим меня так, как я есть, – не спящим.

Ланфиер молча оскалил зубы. Он не ответил, его пьяные мысли, ползающие на четвереньках, сбивались в желание щегольнуть явной бесцеремонностью и апломбом.

– Я первый стал жить в этой дыре, – вызывающе произнес он, усаживаясь на жесткое ложе Горна. – Черт и зверь прокляли колонию раньше, чем мой первый удар заступа прогрыз слой земли. Я хочу с вами познакомиться. Про меня много болтают, но, клянусь честью, я был осужден невинно!

Горн молчал.

– Я всегда уважал труд, – сказал Ланфиер с видимым отвращением к тому, что выговаривали его губы. – Вы мне не верите! Пожили бы вы со мной лет сорок назад... – Двусмысленная улыбка прорезала его сухой рот. – Смерть люблю молодцов, – продолжал каторжник. – Вы приехали, устроили себе угол, как независимый человек, никого не спрашивая и не советуясь. Вы – сам по себе. Таких я и уважаю; да, я хлопнул бы вас по плечу, если бы знал, что вы не рассердитесь. Держу пари, что вы способны кулаком проломить череп и не дадите себя в обиду. Здесь иначе и нельзя, имейте это в виду... Если кто из колонии не нюхал крови, так это я, безобидный и, даю слово, самый порядочный человек в мире.

– К делу, – сказал Горн, теряя терпение. – Если вам нужно что-нибудь – говорите.

Зрачки Ланфиера съжились и потухли. Он что-то соображал. Проспиртованный мозг его искал хотя бы маленького, но цепкого крючочка чужой души.

– Я, – хмуро заговорил он, – ничего не имею, если даже вы меня и выгоните. Несчастному одна дорога – презрение. Клянусь огнем и водой, я чувствую к вам расположение и зашел узнать, как ваше здоровье. Я ведь не полисмен, черт возьми, чтобы строгать вас расспросами, не оставили ли вы за собой чей-нибудь косой взгляд... там, за этой лужицей соленой воды. Мне все равно. Всякий живет по-своему. Я только хочу вас предупредить, чтобы вы были поосто-

рожнее. О вас, видите ли, говорят много. Отбросив болтовню дураков, получим следующее летучее мнение: «Приехал не с пустыми руками». Видите ли, когда покупают кофе или табак, пластырь, порох, следует платить серебром. Лучше всего менять деньги на родине. Здесь горячее солнце, и кровь закипает быстро, гораздо скорее, чем масло на сковороде. О! Я не хочу вас пугать, нисколько, но здесь очень добрые люди и половина их лишена предрассудков. Что делать? Не всякий получает достаточно приличное воспитание.

Глаза Горна прямо и неподвижно упирались в лицо каторжника. Покачиваясь, дребезжащим, неторопливым голосом Ланфиер выпускал фразу за фразой, и они, правильно разделенные невидимыми знаками препинания, таяли в воздухе, подобно клубам дыма, методически выбрасываемым заматерелым курильщиком. Взгляд его, направленный в сторону, блуждал и прыгал, беспокойно ощупывая предметы, но внутренний, другой взгляд все время невидимыми клещами держал Горна в состоянии нетерпеливого раздражения. Он спросил:

– Почему вы не вошли сразу?

Старик открыто посмотрел на хозяина.

– Боялся разбудить вас, – внушительно произнес он, – а дверь чертовски тугая. Застав вас спящим, я тотчас же удалился бы попрыть в окрестностях, пока вам не надоест спать.

Лицо его приняло неожиданно плаксивое выражение.

– Боже мой! – простонал он, усиленно мигая сухими веками, – жизнь обратилась в пытку. Никакого уважения, никто из местных балбесов не хочет помнить, что я, отверженный и презренный, положил начало всей этой трудолюбивой жизни. Кто знает, может быть, здесь впоследствии вырастет город, а мои кости, обглоданные собаками, будут валяться в грязи, и никто не скажет: вот кости старика Ланфиера, безвинно осужденного судом человеческим.

– Я бы стыдился, – сухо проговорил Горн, – вспоминать о том, что благодаря вашему случайному посещению этих мест полуостров загажен расплодившимся человеком. Мне теперь неприятно говорить с вами. Я предпочел бы, чтобы здесь никогда не было ни вас, ни крыш, ни плантаций. Что же касается добрых людей, получивших скверное воспитание, передайте им, что всякая неожиданная любезность с их стороны встретит надлежащий прием.

– Речь волка, – сказал каторжник. – Для первого знакомства недурно. Вы меня презираете, а мне нужно, чтобы здесь жило много людей. У меня со всеми есть счеты. Относительно одних, видите ли, у меня очень хорошая память – выгодная струна. Другие – как бы вам сказать – туповаты и мирно пасутся в своих полях. Этим я стригу мирно, – ну, пустяки, – хлеб, табак, иногда мелочь на выпивку. И есть еще чрезвычайно дерзкие невежи – те, которые могут пустить кровь, облизываясь, как мальчуган, съевший ложку варенья. Все они говорят тихо и рассудительно, ступают медленно, и у них постоянно раздуваются ноздри...

Ланфиер понизил голос и, согнувшись, словно у него заболел живот, широко улыбнулся ртом, в то время как глаза его совершенно утратили подвижность и щурились.

– Лодка! – вскричал он. – Откуда лодка?

Горн посмотрел в окно. Сияющее, прозрачное озеро, наполненное тонувшими облаками, было так явно безлюдно, что в тот же момент он еще быстрее, с заколотившимся сердцем, повернулся к вскочившему каторжнику. Неверный удар ножа распорол блузу. Горн сунул руку в карман и мгновенно протянул к бескровному, мечущемуся лицу Ланфиера дуло револьвера.

Старик прижался к стене, охватив голову сморщенными руками, затем с растерянной быстротой движений очутился у подоконника, выпрыгнул и нырнул в чашу. Три пули Горна зашелкали в листьях. Нервно смеясь, он жадно прислушался к затрепавшему камышу и выстрелил еще раз. Внезапно наступившая тишина наполнилась шумом крови, ударившей в виски. Ноги утратили гибкость, мысли завертелись и понеслись, как щепки, брошенные в поток. Утро, обольстившее Горна, вдруг показалось ему дешевой, отталкивающей олеографией.

В раздумье, не выпуская револьвера, он сел на плохо сколоченную скамейку, чувствуя, как никогда, полную темноту будущего и хрупкость покоя, тянувшегося четырнадцать дней. Его жизнь приближалась к напряженному существованию осторожных четвероногих, превращаемых в слух и зрение подозрительной тишиной дебрей, и сам он должен был стать каким-то мыслящим волком. В сознании необходимости этого таилась тяжесть и, отчасти, грустная радость человека, которому не оставили выбора.

Теперь он страстно хотел, чтобы женщина с мягким лицом, выкроившая его душу по своему желанию, как платье, идущее ей к лицу, прошла мимо холмов, и леса, и его взгляда, погружая дорогие ботинки в мягкий ил берега, заблудилась и постучала в дверь его дома. Неясно, обрывками, Горн видел ее утренний туалет в соседстве глинистых муравьиных куч, и это нелепое сочетание казалось ему возможным. Его представления о жизни допускали все, кроме чуда, к которому он питал инстинктивное отвращение, считая желание сверхъестественного признаком слабости.

Худая, высоко занесенная рука Ланфиера мелькнула перед глазами, бросив в дрожь Горна. Колония, неизвестно почему названная именем человека, только что охотившегося за ним, представилась ему заштопанным оборванцем, выглядывающим из-за изгороди. Выходя, он тщательно запер дверь.

V

Шагая к равнине, на самой опушке леса Горн был достигнут быстрым аллюром маленькой серой лошади. Эстер сидела верхом; ее сосредоточенное, спокойно-веселое лицо взглянуло на Горна сверху, из-под тенистых полей шляпы. Горн оживился и с довольной улыбкой ждал, пока девушка спрыгивала на землю, а затем, молча оборачиваясь к нему, поправляла седло. Одиночество не тяготило его, но отпускало поводья самым бешеным взрывом тоски, и теперь, когда явился громоотвод в образе человека, Горн был чрезвычайно рад ухватиться за возможность поговорить. Они пошли рядом, и маленькая серая лошадь, медленно шевеля ушами, как будто прислушиваясь, вытягивала на ходу морду за спиной девушки.

– Я рад видеть вас, – сказал Горн. – Мы так забавно расстались с вами тогда, что я и теперь смеюсь, вспоминая о своем выстреле.

Эстер подняла брови.

– Почему забавно? – подозрительно спросила она. – Здесь часто стреляют в цель, и я также.

Горн не ответил.

– Отец послал к вам, – сказала девушка, глядя в линию горизонта. – Он сказал: «Поди съезди. Этого человека давно не видно, бывают лихорадки, а змей – пропасть».

– Благодарю, – сказал удивленный Горн. – Он видел меня раз, ночью. Странно, что он заботится обо мне, я тронут.

– Заботится! – насмешливо произнесла девушка. – Он – заботится! Он не заботится ни о ком. Вы просто не даете ему покоя. Да о вас все говорят, куда ни пойдешь. Кто-то на прошлой неделе утверждал, что вы просто-напросто дезертир с материка. Но вас никто не спросит, будьте уверены. Здесь так живут.

Горн сердито повел плечами.

– Так бывает, – холодно сказал он. – Когда человек не просит ничего у других и не желает их видеть, он – преступник. С полгоря, если его ненавидят, могут избить и выругать.

Эстер повернулась и внимательно осмотрела фигуру Горна, как бы соображая, даст ли этот человек избить себя.

– Нет, не вас, – решительно сказала она. – Вы, кажется, сильны, даром что бледноваты немного. Здесь скоро будете смуглым, как все.

– Надеюсь! – сказал Горн.

Он помолчал и сморщился, вспомнив нападение Ланфиера. Рассказывать ему не хотелось, он смутно угадывал, что это происшествие может подогреть басни о его якобы припрятанном золоте. Эстер что-то вспомнила; остановив лошадь, она подошла к седлу и вынула из кожаного мешка нечто колючее и круглое, как яблоко, утыканное гвоздями.

– Ешьте, – предложила Эстер. – Это здешние дурианги, они подгнили, но от этого только еще вкуснее.

Оба стояли на невысоком плато, окруженном шероховатыми уступами. Горн, смущенный отталкивающим запахом прогнившего чеснока, нерешительно повертел плод в руках.

– Привыкнете, – беззаботно сказала девушка. – Зажмите нос, это, честное слово, не так плохо.

Горн отковырнул твердую кожицу дурианга и увидел белую киселеобразную мякоть. Попробовав ее, он остановился на одно мгновение и затем съел дочиستا этот удивительный плод. Его нежный, непередаваемо сложный вкус тянул есть без конца. Эстер озабоченно следила за Горном, бессознательно шевеля губами, как бы подражая жующему рту.

– Каково? – спросила она.

– Замечательно, – сказал Горн.

– Я дам вам еще. – Она повернулась к лошади и проворно сунула в карман Горна несколько штук. – Их здесь много, вы сами можете собирать.

Она подумала, раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но остановилась и исподлобья, по-детски скользнула по лицу Горна неммым вопросом.

– Вы хотели меня спросить, – сказал он. – Что же? Спрашивайте.

– Ничего, – поспешно возразила Эстер. – Я хотела спросить, это верно, но почему вам это известно? Я хотела спросить, не скучно ли вам со мной? Я не умею разговаривать. Мы все здесь, знаете, грубоваты. Там вам, конечно, лучше жилось.

– Там?

– Ну да, там, откуда вы родом. Там, говорят, много всякой всячины.

Она повела рукой, как бы стараясь нагляднее представить себе сверкающую громаду города.

– Ни там, ни здесь, – сдержанно сказал Горн. – Если хорошо – хорошо везде, плохо – везде плохо.

– Значит, вам плохо! – торжествующе вскричала она. – Расскажите.

– Рассказать? – удивленно протянул Горн.

Он только теперь вполне ясно представил и ощутил, какое нестерпимое, хотя и обуздываемое, любопытство должен возбуждать в ней. Неизгладимый отпечаток культуры, стертый, обезображенный полудиким существованием, рельеф сложного мира души сквозил в нем и, как монета, изъеденная кислотой, все же, хотя бы и приблизительно, говорил о своей ценности. Он размышлял. Ее требование было законно и в прямоте своей являлось простым желанием знать, с кем ты имеешь дело. Но он готов был вознегодовать при одной мысли вывернуться наизнанку перед этой простой девушкой. Солгать не пришло в голову; в замешательстве, не зная, как переменить разговор, он посмотрел вверх, на дальнюю синеву воздуха.

И пустота неба легла в его душу холодной тоской свободы, отныне признанной за ним каждым придорожным листом. Резкое лицо прошлого светилось насмешливой гримасой, и ревнивая деликатность Горна по отношению к той показалась ему странной и даже лишенной самолюбия навязчивостью на расстоянии. Прошлое вежливо освободило его от всяческих обязательств.

И он ощутил желание взглянуть на себя со стороны, прислушиваясь к словам собственного рассказа, проверить тысячи раз выверенный счет жизни. Девушка могла истолковать его иначе, но ведь ей важно знать только канву, остальное скользнет мимо ее ушей, как смутные голоса леса.

– Моя жизнь, – сказал Горн, – очень простая. Я учился; неудачные спекуляции разорили моего отца. Он застрелился и переехал на кладбище. Двоюродный брат дал мне место, где я прослужил три года. Сядемте, Эстер. Путаться в оврагах не представляет особенного удовольствия.

Девушка быстро села, не выпуская повода, на том месте, где ее застали слова Горна. Он сделал по инерции шаг вперед, вернулся и сел рядом, покусывая сорванный стебелек.

– Три года, – повторила она.

– Потом, – продолжал Горн, стараясь говорить как можно проще, – я стал бродягой оттого, что надоело сидеть на одном месте; к тому же мне не везло: хозяева предприятия, где я служил, умерли от чумы. Ну, вот... я переезжал из города в город, и мне наконец это понравилось. И совсем недавно у меня умер друг, которого я любил больше всего на свете.

– У меня нет друзей, – медленно произнесла Эстер. – Друг, это хорошо.

Горн улыбнулся.

– Да, – сказал он, – это был милейший товарищ, и умереть с его стороны было большим свинством. Он жил так: любил женщину, которая его, пожалуй, тоже любила. До сих пор это осталось невыясненным. Он избрал ее из всех людей и верил в нее, то есть считал ее самым

лучшим человеческим существом. Женщина эта была в его глазах совершеннейшим созданием бога.

Пришли дни, когда перед ней поставлен был выбор – идти рука об руку с моим другом, все имущество которого заключалось в четырех стенах его небольшой комнаты, или жить, подобно реке в весеннем разливе, красиво и плавно, удовлетворяя самые не ожидаемые желания. Она была в это время немного грустна и задумчива, и глаза ее вспыхивали особенным блеском. Наконец между ними произошло объяснение.

Тогда стало ясно моему другу, что жадная душа этой женщины ненасытна и хочет всего. А он был для нее только частью, и не самой большой.

Но и он был из той же породы хищников с бархатными когтями, трепещущих от голосов жизни, от вида ее сверкающих пьедесталов. Вся разница между ними была в том, что одна хотела все для себя, а другой – все для нее.

Он думал заключить с нею союз на всю жизнь, но ошибся. Женщина эта шла навстречу готовому, протянутому ей другим человеком. Готовое было – деньги.

Он понял ее, себя, но сторел в несколько дней и сделался молодым стариком. Удар был чересчур силен, не всякому по плечу. Все продолжало идти своим порядком, и через месяц, собираясь уехать, он написал этой женщине, жене другого, письмо. Он просил в нем сказать ему последний мучительный раз, что все же ее любовь – с ним.

Ответа он не дождался. Тоска выгнала его на улицу, и незаметно, не в силах сдержать желания, он пришел к ее дому. О нем доложили под вымышленным им именем.

Он проходил ряд комнат, двигаясь как во сне, охваченный мучительной нежностью, рыдающей тоской прошлого, с влажным и покорным лицом.

Их встреча произошла в будуаре. Она казалась встревоженной. Лицо ее было чужим, слабо напоминающим то, которое принадлежало ему.

«Если вы любите меня, – сказала эта женщина, – вы ни одной минуты не останетесь здесь. Уй дите!»

«Ваш муж?» – спросил он.

«Да, – сказала она, – мой муж. Он должен сейчас прийти».

Мой друг подошел к лампе и потушил ее. Упал мрак. Она испуганно вскрикнула, опасаясь смерти.

«Не бойтесь, – шепнул он. – Ваш муж войдет и не увидит меня. Здесь толстый ковер, в темноте я выйду спокойно и безопасно для вас. Теперь скажите то, о чем я просил в письме».

«Люблю», – прошептал мрак.

И он, не расслышав, как было произнесено это слово, стал маленьким, как ребенок, целовал ее ноги и бился о ковер у ее ног, но она отталкивала его.

«Уйдите, – сказала она, досадуя и тревожась, – уйдите!»

Он не уходил. Тогда женщина встала, зажгла свечу и, вынув из ящика письмо моего друга, сожгла его. Он смотрел, как окаменелый, не зная, что это – оскорбление или каприз? Она сказала:

«Прошлое для меня то же, что этот пепел. Мне не восстановить его. Прощайте».

Последнее ее слово сопровождал громкий стук в дверь. Свеча погасла. Дверь открылась, темный силуэт загораживал ее светлый четырехугольник. Мой друг и муж этой женщины столкнулись лицом к лицу. Наступило ненарушимое молчание, то, когда только одно произнесенное слово губит жизнь. Мой друг вышел, а на другой день был уже на палубе парохода. Через месяц он застрелился.

А я приехал сюда на торговом голландском судне. Я решил жить здесь, подальше от людей, среди которых погиб мой друг. Я потрясен его смертью и проживу здесь год, а может, и больше.

Пока Горн рассказывал, лицо девушки сохраняло непоколебимую серьезность и напряжение. Некоторые выражения остались непонятыми ею, но сдержанное волнение Горна затронуло инстинкт женщины.

– Вы любите ту! – вскричала она, проворно вскакивая, когда Горн умолк. – Меня не обманете. Да и друга у вас, пожалуй что, не было. Но это мне ведь одинаково.

Глаза ее слегка заблестели. За исключением этого, нельзя было решить, произвел ли рассказ какое-нибудь впечатление на ее устойчивый мозг. Горн ответил не сразу.

– Нет, это был мой приятель, – сказал он.

– Меня обманывать незачем, – сердито возразила Эстер. – Зачем рассказывали?

– Я или не я, – сказал Горн, пожимая плечами, – забудем это. Сегодняшний день исключителен по числу людей и животных. Вон – еще едет кто-то.

– Молодой Дрибб, – сказала Эстер. – Дрибб, что случилось?

– Ничего! – крикнул гигант, сдерживая гнедую кобылу перед самым лицом Горна. – Я упражнялся в отыскании следов и случайно попал на твой. Все-таки я могу, значит. А этот человек кто?

Горна он как будто не видел, хотя последний стоял не далее метра от стремени. Горн с любопытством рассматривал огромное, нескладное туловище, увенчанное маленькой головой, с круглым, словно выкованным из коричневого железа лицом; белая с розовыми полосками блуза открывала волосатую вспотевшую грудь. Все, вместе взятое, походило на мужика и разбойника; добродушный оскал зубов настроил Горна если не дружелюбно, то, во всяком случае, безразлично.

– Подумать, что ты ничего не знаешь, – насмешливо сказала Эстер.

– А! – Великан шумно вздохнул. – Ты едешь?

Эстер села в седло.

– Прощайте, сударь, – сказал Дрибб Горну, неловко останавливая на нем круглые глаза и дергая подбородком.

– Горн, – сказала Эстер, – не ходите в болота, а если пойдете, выпейте больше водки. А то можете провалиться месяца два.

Верхом, гибко колеблясь на волнующейся спине лошади, она бессознательно бросала в глаза Горна свою резкую красоту. Он, может быть, в первый раз посмотрел взглядом мужчины на ее безукоризненную фигуру и лицо, полное жизни. Эта пара, удалявшаяся верхом, кольнула его чем-то похожим на досадливое удивление.

– Галло! Гоп! Гоп! – заорал Дрибб, устремляясь вперед и тяжело подсакивая в седле.

– До свидания, Эстер! – громко сказал Горн.

Она быстро повернулась; лицо ее, смягченное мгновенной улыбкой, выразило что-то еще.

Бледное отражение молодости проснулось в душе Горна, он снял шляпу и, низко поклонившись, бросил ее вслед удаляющимся фигурам. Эстер, молча улыбаясь, кивнула и исчезла в кустах. Великан ни разу не обернулся, и когда, вместе с Эстер, скрылась его широченная сутуловатая спина, Горн подумал, что молодой Дрибб невежлив более, чем это необходимо для дикаря.

День развернулся, пылая голубым зноем; духота, пропитанная смолистыми испарениями, кружила голову. И снова чувство глубокого равнодушия поднялось в Горне; рассеянно поглаживая рукой ложе ружья, он пришел к выводу, что девственная земля утратила свое обаяние для сложного аппарата души, вскормленной мыслью. Слишком могучая и сочная земля утомляла нервы, как яркий свет – зрение. Расчищенная и дисциплинированная, не более, как приятное зрелище, – она могла бы стать дивным комфортом, любовницей, не изнуряющей ласками, душистой ванной больных, мерзнущих при одной мысли о просторе реки.

– А я? – спросил Горн у неба и у земли. – Я? – Он вспомнил свои охоты и трепет звериных тел, самообладание в опасности, темный полет ночи, заспанные глаза зари, угрюмую негу леса – и торжествующе выпрямился. В природе он не был еще ни мертвецом, ни кастратом, ни нищим в чужом саду. Его равнодушие стояло на фундаменте созерцания. Он был сам – Горн.

Тучный человек умирающим голосом произносил «пуф» всякий раз, когда, визжа блоком, распахивалась входная дверь и горячий столб света бросался на земляной пол трактирчика. Как хозяин, он благословлял посетителей, как человек – ненавидел их всеми своими помыслами.

Но посетители хотели видеть в тучном человеке только хозяина, безжалостно требуя персиковой настойки, пива, рому и пальмового вина. Тучный человек, страдая, лазил в погреб, взбирался по лесенкам и снова, мокрый от пота, садился на высокий, плетеный стул.

В углу шла игра, облака табачного дыма плавали над кучкой широкополых шляп; характерный треск костей мешался с ругательствами и шелканьем кошельков. Сравнительно было тихо; стены сарая, носившего имя «Зеленой раковины», видали настоящие сражения, кровь и такую игру ножей, от которой в выигрыше оставалась одна смерть. Изредка появлялись неизвестные молодцы с тугими кожаными поясами, подозрительной чистотой рук и кучей брелочков; они хладнокровно и вежливо играли на какие угодно суммы, в результате чего колонисты привыкли чесать затылки и сплевывать.

Ланфиер вошел незаметно, его костлявое тело, казалось, могло пролезть в щель. Еще пьянее, чем утром, с трубкой в зубах, он подвалился к столу играющих и залился беззвучным смехом. На мгновение кости перестали ударяться о стол; рассеянное недоумение лиц было обращено к пришедшему.

– Вот штука, так штука! – захрипел каторжник, кончив смеяться, лишь только почувствовал, что терпение игроков лопается. – Он сказал правду: ну и молодчага же, надо сказать!

– Кто? – осведомился тучный человек на стуле.

– Новый хозяин озера. – Ланфиер понизил голос и стал говорить медленно. – Я ведь сегодня у него был, вы знаете. Он окончательно порядочный человек. «Будь я губернатором, – сказал он, – я эту колонию поджег бы с середины и с четырех концов. Там, говорит, одни скоты и мошенники, а кто получше, глупы, как тысяча крокодилов».

– Вы мастер сочинять басни, – сказал, посапывая, кофейный плантатор. – Вы врете!

Ланфиер угрюмо блеснул глазами.

– Я был бы теперь мертв, – закричал он, – будь глаз у этого человека повернее на толщину волоса! Я упрекнул его в заносчивости, он бросил в меня пулю так хладнокровно, как будто это был катышек из мякиша. Я выскочил в окно проворнее ящерицы.

– Сознайтесь, что вы соврали, – зевнул хозяин.

Старик молчал. За сморщенными щеками его прыгали желваки. Играющие вернулись к игре. Ланфиеру не верили, но каждый сложил где-то в темном кусочке мозга «глупых, как крокодилы, людей, мошенников и скотов».

VI

Бекеко, задрав голову, смотрел вверх. Обезьяна раскачивалась на хвосте под самым небом; ее круглые, старчески-детские глаза быстро ощупывали фигуру идиота, иногда отвлекаясь и соображая расстояние до ближайшего дерева.

Бекеко дружелюбно кивал, подмаргивал и знаками приглашал зверя спуститься вниз, но опытный капуцин посвистывал недоверчиво и тревожно, по временам строя отвратительные гримасы. Бекеко смеялся. Болезненное, беспричинно радостное чувство распирало его маленькое шелудивое тело, и он захлебывался нелепым восторгом, дрожа от нестерпимого возбуждения. Капуцина, как все живое, он ставил выше себя и с вежливой настойчивостью, боясь оскорбить мохнатого акробата, продолжал свои приглашения.

Потом, взглядевшись пристальнее в сморщенное лицо, он вздрогнул и съежился; смутное опасение поколебало его веселость. Нельзя было ошибиться: капуцин готовился разгрызть череп Бекеко и, может быть, впиться зубами в его тощий желудок.

– Ну... ну... – испуганно проворчал расстроенный человек, отходя в сторону.

Теперь он не в силах был посмотреть вверх и, волнуясь, осматривался кругом, в надежде найти сук, годный для обороны. Под небом висел зверь огромной величины, на время прикинувшийся маленьким, но теперь Бекеко знал все: на него устроили ловушку, и он попался самым глупейшим образом. Еще не зная, с какой стороны, кроме хвостатого старика, грозит опасность, он стал пятиться, спотыкаясь и вздрагивая от страха. Враги не отставали; невидимые, они бесшумно ползли в траве, покалывая босые ноги Бекеко колючками, больно обжигавшими кожу. Внезапное подозрение, что сзади притаилась засада, бросило его в пот. Колебаясь, он топтался на месте, боясь тронуться, полный безумного ужаса перед томительной тишиной леса и зелеными, закрывающими лицо гигантами.

Когда показался враг, пытливо рассматривая тщедушную фигуру Бекеко, идиот вскрикнул, запустил в неприятеля тяжелым желтым комком и присел, замирая в тоскливом ожидании смерти. Горн медлил. Почти испуганный, но не призраками, он вертел в руках брошенный Бекеко комочек. Сильное возбуждение охватило его; с глазами, заблестевшими от неожиданности, с пересохшим от внезапного волнения горлом, охотник механически подбрасывал рукой тусклый, грязноватый кусок, забыв о Бекеко, лесе и времени.

Капуцин продолжал раскачиваться; оттопырив щеки, он сердито вытянул морду и, разглядев ружье, гневно скрипнул зубами. Потом с шумом перепрыгнул на соседнее дерево, зацылкал, пустил в Горна большим орехом и стремглав кинулся прочь, ныряя в чащу.

Горн осмотрелся. Он был бледен, сосредоточен и плохо справлялся с мыслями. Помимо его воли, они разлетались быстрее пуль, выброшенных из митральезы. Неясное кипение души требовало исхода, движения; лес должен был наполниться звуками, способными заглушить кричащую тишину. Но прежнее ленивое великолепие дремало вокруг, равнодушно заключая в свои торжественные объятия растерянного, побледневшего человека.

– Бекеко! – сказал Горн. – Бекеко!

Идиот боязливо высунул голову из-за ствола дерева. Горн смягчил голос, почти проникнутый нежностью к загнанному уродцу, внимательно рассматривая это странное существо, напоминавшее гномов.

– Бекеко, – сказал Горн, – ты не узнал меня?

Идиот поднял глаза, не решаясь произнести слово.

Охотник слегка тронул его рукой, но тотчас же отдернул ее: пронзительный визг огласил лес. Бекеко напоминал испуганного ежа, свернувшегося комком.

– Ну, хорошо, – как бы соглашаясь в чем-то с Бекеко, продолжал Горн, – я ведь тебе не враг. Я тотчас уеду, только скажи мне, милый звереныш, где ты нашел этот блестящий шарик?

Он мне нужен, понимаешь? Мне и Эстер. Нам нужно порядочно таких шариков. Если ты не будешь упрячиться и скажешь, Эстер даст тебе сахару.

Он вытянул руку и тотчас же сжал пальцы, как будто тусклый блеск золота обжигал кожу.

– Эстер... – нерешительно пробормотал идиот, приподымая голову. – Даст сахару!

Он жалобно замигал и снова погрузился в туманную пустоту безумия. Горн нетерпеливо вздохнул.

– Эстер, – тихо повторил он, наклоняясь к Бекеко. – Ты понял, что ли? Эстер!

Лицо Бекеко вытянулось, шевеля плоскими оттопыренными губами. Тяжелая работа ассоциации совершилась в нем. Темный мозг силился связать в одно целое сахар, имя, человека с ружьем и женский образ, плававший неопределенным, ярким пятном. И вдруг Бекеко расцвел почти осмысленной гримасой плаксивого судорожного смеха.

– Эстер, – медленно произнес он, исподлобья рассматривая охотника.

– Да. – Горн вздохнул. Все тело его рвалось прочь, к лихорадочному опьянению поисками. – Эстер нуждается в таких шариках. Где ты нашел их?

– Там! – взмахивая рукой и, видно, приходя в себя, крикнул Бекеко. – Маленькая голубая река.

– Ручей? – спросил Горн.

– Вода. – Идиот утвердительно кивнул головой.

– Вода, – настойчиво повторил Горн.

– Вода, – как эхо, отозвался Бекеко.

Горн молчал. Север, маленькая голубая река. И маленький, не более пули, кусочек золота.

– Бекеко, – сказал он, удаляясь, – помни: Эстер даст сахару.

Он был уже далеко от места, где, скорчившись, сидел испуганный получеловек, и сам не заметил этого. Он шел спешными, большими шагами, проникнутый нестерпимой тревогой, словно боялся опоздать, упустить нечто невероятной важности. Все, начиная с Бекеко и кончая ночью этого дня, вспоминалось им после, как торопливо промчавшийся, смутно восстановленный сон, полный беззвучной музыки. Чувство фантастичности жизни охватило его; отрывками вспоминая прошлое, похожее на сон облачных стай, и связывая его с настоящим, он испытал восторг мореплавателя, прозревающего в тумане девственный берег неведомого материка, и волнение перед неизвестным, подстерегающим человека. Тело его окрепло и утратило тяжесть; лицо, смягченное грезами, задумывалось и улыбалось, словно он читал интересную, нравящуюся книгу, где были переплетены в тонком узоре грусть и восторг, юмор и нежность. Стволы, толщиной с хорошую будку, колоннами уходили в небо, и он чувствовал себя маленьким, вверенным надежному, таинственному покровительству леса, зеленой глубине чащи, напоминающей тревожные сумерки комнат, охваченных глубоким безмолвием. Маленькая голубая река текла перед его глазами, и в ее мокром песке невинно дремало золото, юное, как побеги травы, целомудренное могущество, не знавшее дрожи человеческих пальцев и похотливых взглядов мещан, алчущих без конца. Он шел в одном направлении, жалея о каждом шаге, сделанном в сторону, когда приходилось огибать ствол и холмик. Постепенно, хмурясь и улыбаясь, достиг он сияющих дебрей воображения, гущины грез, делающих человека пьяным, не хуже вина. Он походил на засыпающего в тот момент, когда голоса людей из соседней комнаты мешаются с расцветом сказочных происшествий, начинающих в освобожденном мозгу свои диковинные прологи. Это было все и ничто, сомнение в удаче и яростная уверенность в ней, чувство узника, с голыми руками покинувшего тюрьму и нашедшего семизарядный револьвер, стремительный бег желаний; запыхавшаяся душа его торопилась осязать будущее, в то время как тело, нечувствительное к усталости, ускоряло шаги.

Был тот час дня, когда, лениво раздумывая, вечер приближает к земле внимательные глаза, и цикады звенят тише, чувствуя осторожный взгляд Невидимого, удлиняющего тени

стволов. Лес редел, глубокие просветы заканчивались пурпуром скал, блестящих в крови солнца, раненного Дианой. Обломки кварца, следы бывших землетрясений желтели отраженным светом зари, короткое бормотание какаду звучало сердитым удовлетворением и строптивостью. Горн шел, механически ступая ногами.

Через полчаса он увидел воду. Конечно, это была та самая маленькая голубая река, узкий ручей с небом на дне и блеском песчаных отмелей, чистых, как серый фаянс. Издали она казалась голубой лентой в зеленой косе нимфы. Ее линия, перерезанная раскидистыми вершинами отдельных древесных групп, уходила в скалистый грот, черный от ползучих растений, заткавших щели и выступы складками зеленых ковров, падающих к воде. Горн, с трудом передвигая ноги в сырой гуще цепкой травы, выбрался к голубой ленте и остановился, вдыхая сладкий, прелый запах водорослей.

Здесь ему впервые пришло в голову, что жажда неотступно мучает его тело, и он почти упал на колени, зачерпывая ладонью теплую как остывший кипяток жидкость. Прозрачные капли дождем стекали по его подбородку и пальцам. Он пил много, переводя дух, отдыхал и снова погружал руки в теплую глубину.

Удовлетворение наполнило его слабостью, наступившей внезапно, тяжелой ленью всех членов, нежеланием двигаться. Он посмотрел на дно, но его глазам сделалось больно от солнца, игравшего в подводном песке. Всмотревшись пристальнее, Горн приблизил лицо к самой поверхности воды, почти касаясь ее ресницами. В таком положении он пробыл минуты две; тело его вздрагивало мгновенной, неуловимой дрожью, и кровь прилиwała к побледневшим щекам быстрее облачной тени, охватывающей равнину.

Желтые искры, тлея смягченным водой блеском, пестрили чистое дно ручья, и чем больше смотрел Горн, тем труднее становилось ему отличить гальку от золота. Оно таинственно покоилось в глубине, от его матовых зерен били в зрачки Горна невидимые, звонкие фонтанчики, звеня в ушах беглым приливом крови. Он засмеялся и громко крикнул. Дрожащий звук голоса отозвался в лесных недрах слабым гулом и стих. Горн встал.

И все показалось ему невыразимо прекрасным, проникнутым торжеством радости. Воздушный мост, брошенный на берег будущего, вел его в сияющие ворота жизни, отныне доступной там, где раньше стояли крепости, несокрушимые для желаний. Земной шар как будто уменьшился в объеме и стал похожим на большой глобус, на верхней точке которого стоял взволнованный человек с пылающими щеками. И прежде всего Горн подумал о силе золота, способного вернуть женщину. Он ехал к ней в тысяче поездов, их колеса сливались в сплошные круги, и рельсы вздрагивали от массы железа, проносящего Горна. Он говорил ей все, что может сказать человек, и был с ней.

Потом он услышал вообразенное им самим слово «нет», но уже почувствовал себя не оскорбленным, а мстителем, и с мрачной жадностью набросал сцены расчетливой деловой жестокости, обширный круг разорений, увлекающий в свою крутящуюся воронку благополучие человека, постучавшего в дверь. Горн выбрасывал на мировой рынок товары дешевле их стоимости. И с каждым днем тускнело лицо женщины, потому что умолкали, одна за другой, фабрики ее мужа, и паутина свивала затхлое гнездо там, где громыхали машины.

Прошло не более двух минут, но в течение их Горн пережил с болезненной отчетливостью несколько лет. Осунувшийся от возбуждения, он посмотрел вокруг. Солнце ушло за скалы, светлые вечерние тени кутали остывающую землю, молчаливо поблескивала река.

Он вырезал кусок дерна и, придав ему наклонное положение, бросил на зеленую поверхность самодельного вашгерда несколько пригоршней берегового песка. Потом срезал кусок коры и, устроив из него нечто вроде ковша, зачерпнул воды.

Это был первый момент работы, взволновавший охотника более, чем песок дна. Он все лил и лил воду, пока в траве дерна не заблестел тонкий, тяжелый слой золота. Силы временно оставили Горна, он сел возле добычи, положив руку на мокрую поверхность станка, и тотчас

бешеный хоровод мыслей покинул его утомленный мозг, оставив оцепенение, похожее на восторг и тоску.

VII

Горн вернулся без рубашки и блузы, с кожаной сумкой, полной маленьких узелков, сделанных из упомянутых вещей и оттянувших его плечи так, что было больно двигать руками. Полуголый, обожженный солнцем, он принес к озеру запах лесных болот и сладкое, назойливое изнеможение.

Новое ощущение поразило его, когда он подходил к дому, – ощущение своего тела, как будто он щупал его слабыми от жары руками, и беспричинная, судорожная зевота. Затворив дверь, он вырыл в земляном полу яму и тщательно замуровал туда слежавшиеся тяжелые узелки. Их было много, и ни один не выглядел худощавым.

Опустившись на высохшую траву постели, он долго сидел понурясь и не мог объяснить себе внезапного, тоскливого равнодушия к свежеутоптанной земле хижины. Сжав левую руку у кисти, он слушал глухую возню крови, и зубы его быстро стучали, отбивая дробь маленьких барабанов, а тело ежилось, словно на его потной коже таяли хлопья снега, падающего с потолка.

Горн лег и лежал с широко открытыми глазами, не раздеваясь, в сладострастной истоме, прерываемой периодическим сотрясением тела, после чего обильный пот стекал по лицу. Убедившись, что болен, он стал высчитывать, на сколько дней придется остановить работу и сколько он потеряет от этого. Болотная лихорадка могла обойтись ему в цену хорошего помещения, потому что, как он слышал и знал, болезнь эта редко покидает ранее десяти дней.

Клацая челюстями и корчась, он постепенно пришел в хорошее настроение – признак, что жар усилился. Озноб оставил его, и он насмешливо улыбался голым стенам дома, скрывающим то, из-за чего Ланфиер способен был бы нанести удар спереди, без военных хитростей полководца, устраивающего ложную диверсию.

Горн пролежал до заката солнца, когда жар временно оставляет человека, чтобы возвратиться на другой день в строго определенный час, с аккуратностью немца, завтракающего в пятьдесят шесть минут первого. Слабый, с закружившейся головой и револьвером в кармане, Горн надел новую блузу и вышел на воздух. Мысли его приняли спокойное направление, он тщательно взвесил шансы на достижение и убедился, что не было никакой ошибки, за исключением случайностей, рассеянных в мире в немного большем количестве, чем это необходимо. Освеженный холодным воздухом, он долго рассматривал звездный атлас неба и Южный Крест, сияющий величавым презрением к делам земных обитателей. Но это не подавляло Горна, потому что глаза его, в свою очередь, напоминали пару хороших звезд – так они блестели навстречу мраку, и он не чувствовал себя ни жалким, ни одиноким, так как не был мертвой материей планет.

Пахнул ветер и замер, оборвав слабый, долетевший издали, топот лошади. Горн машинально прислушался, через минуту он мог уже сказать, что в этот момент подкова встретила камень, а в тот – рыхлую почву. Тогда он вернулся к себе и зажег маленькую лампу, купленную в колонии. Колеблющийся свет лег через окно в ближайшие стволы бамбука. Горн отворил дверь и стал за ее порогом, слабо освещенный с одного бока.

Неизвестный продолжал путь, он ехал немного тише, из чего Горн заключил, что едут к нему, так как не было смысла лететь галопом к озеру и задерживать шаг ради удовольствия вернуться обратно. Он ждал, пока фыркание лошади не раздалось возле его ушей.

– Кто вы? – спросил Горн, играя револьвером. – Эстер! – помолчав и отступая от удивления, сказал он. – Так вы не спите еще?

– А вы? – спросила она с веселым смехом, запыхавшись от быстрой езды. – Главное, что вы еще живы.

– Жив, – сказал Горн, почувствовав оживление при звуках этого голоса, громкого, как звон небольшого колокола. – Ваш отец должен теперь совершенно успокоиться.

Она не ответила и, молча пройдя к столу, села на табурет. Выражение ее лица беспрерывно менялось, словно в ней шел мысленный разговор с кем-то, известным одной ей. Горн сказал:

– Вы видите, как я живу. У меня нет ничего, что я мог бы предложить вам в качестве угощения. Обыкновенно я уничтожаю остатки пищи, они быстро портятся.

– Вы говорите так потому, что не знаете, зачем я пришла, – сказала Эстер, и голос ее звучал на полтона ниже. – Сегодня, видите ли, праздник. Мужчины с раннего утра на ногах, но теперь уже плохо на них держатся. Все спиртные напитки проданы. Везде горят факелы, наш дом украшен фонариками. Это очень красиво. Кто не жалеет порошу, те ходят кучками и стреляют холостыми зарядами. В «Зеленой Раковине» убрали все столы и скамейки, танцуют без перерыва.

Она выжидательно посмотрела в лицо Горна. Тогда он заметил, что на Эстер желтое шелковое платье и голубая косынка, а смуглая шея украшена жемчужными бусами.

– Я поотстала немного, когда проходили мимо маленькой бухты, и вспомнила вас, а потом видела, как молодой Дрибб обернулся, отыскивая меня глазами. Кинг поскакал быстро, я угощала его каблуками без жалости. Конечно, вам будет весело. Нельзя сидеть долго наедине со своими мыслями, а через полчаса мы будем уже там. Хорошо?

– Эстер, – сказал Горн, – почему праздник?

– День основания колонии. – Эстер раскраснелась, молчаливая улыбка приоткрывала ее свежий рот, влажный от возбуждения. – О, как хорошо, Горн, подумайте! Мы будем вместе, и вы расскажете, так ли у вас празднуют какое-нибудь событие.

– Эстер, – сказал сильно тронутый Горн, – спасибо. Я, может быть, не пойду, но, во всяком случае, я как будто уже был там.

– Пойдите одну минуту. – Девушка лукаво посмотрела на охотника, и голос ее стал протяжным, как утренний рожок пастуха. – Бекеко все просит сахару.

– Бекеко! – повторил сильно озадаченный Горн. – Просит сахару?

И, вспомнив, насторожился. Ему пришло в голову, что всем известно о маленькой голубой реке. Неприятное волнение стеснило грудную клетку, он встал и прошелся, прежде чем возобновить разговор.

– Он лез ко мне и говорил страшно много непонятных вещей, – продолжала девушка, смотря в окно. – Я ничего не поняла, только одно: «Твой человек (это он называет вас моим человеком) сказал, что ему и Эстер нужно множество желтых камней». После чего будто бы вы обещали ему от моего имени сахару. О, я уверена, что он ничего не понял из ваших слов. Я дала ему, по крайней мере, пригоршню.

Горн слушал, стараясь не проронить ни одного слова. Лицо его то бледнело, то розовело и, наконец, приняло натуральный цвет. Девушка была далека от всякого понимания.

– Да, – сказал он, – я встретил дурачка в припадке панического, необъяснимого ужаса. С вами он, должно быть, словоохотливее. Я успокоил его, не выжав из него ни одного слова. Желтые камни! Только мозг сумасшедшего может сплести бред с действительностью. А сахар – да, но вы ведь не сердитесь?

– Нисколько! – Эстер задумчиво посмотрела вниз. – «Это нужно мне и Эстер», – говорил он. – Она рассмеялась. – Нужно ли вам то, что мне? Пора идти, Горн. Я много думала об этих словах, а вы, вероятно, мало. Но вы не знали, что они дойдут до меня.

Ее учащенное дыхание касалось души Горна, и он, как будто проснувшись, но не решаясь понимать истину, остановился с замершим на губах криком растерянного удивления.

– Эстер, – с тоскою сказал он, – подымите голову, а то я боюсь, что не так понимаю вас.

Эстер прямо взглянула ему в глаза, и ни смущения, ни застенчивости не было в ее тонких чертах, захваченных неожиданным для нее самой волнением женщины. Она встала, пространство менее трех футов разделяло ее от Горна, но он уже чувствовал невидимую стену,

опустившуюся к его ногам. Он был один, присутствие девушки наполняло его смятением и тревогой, похожей на сожаление.

– Я могла бы быть вашей женой, Горн, – медленно сказала Эстер, все еще улыбаясь ртом, хотя глаза ее уже стали напряженно серьезными, как будто тень легла на верхнюю часть лица. – Вы, может быть, долго еще не сказали бы прямых слов мужчины. А вы мне уже дороги, Горн. И я не оскорблю вас, как та.

Горн подошел к ней и крепко сжал ее опущенную вниз руку. Тяжесть давила его, и ему страшно хотелось, чтобы его голос сказал больше жалких человеческих слов. И, чувствуя, что в этот момент не может быть ничего оскорбительнее молчания, он произнес громко и ласково:

– Эстер! Если бы я мог сейчас умереть, мне было бы легче. Я не люблю вас так, как вы, может быть, ожидаете. Выкиньте меня из вашей гордой головы; быть вашим мужем, превратить жизнь в сплошную работу – я не хочу, потому что хочу другой жизни, быть может, неосуществимой, но одна мысль о ней кружит мне голову. Вы слушаете меня? Я говорю честно, как вы.

Девушка закинула голову и стала бледнее снега. Горн выпустил ее руку. Эстер пошевелила пальцами, как бы стряхивая недавнее прикосновение.

– Ну, да, – жестко, с полным самообладанием сказала она. – Если вы не понимаете шуток, тем хуже для вас. Впрочем, вы, вероятно, ищете богатых невест. Я всегда думала, что мужчина сам добывает деньги.

Каждое ее слово болезненно ударило Горна. Казалось, в ее руках была плеть, и она била его.

– Эстер, – сказал Горн, – пожалейте меня. Не я виноват, а жизнь крутит нами обоими. Хотели бы вы, чтобы я притворился любящим и взял ваше тело, потому что оно прекрасно и, скажу правду, влечет меня? А потом разошелся с вами?

– Прощайте, – сказала девушка.

Все тело ее, казалось, дышало только что нанесенным оскорблением и вздрагивало от ненависти. Горн бросился к ней, острая, нежная жалость наполняла его.

– Эстер! – мягко, почти умоляюще сказал он. – Милая девушка, прости меня!

– Прощаю! – задыхаясь от гневных слез, крикнула Эстер, и, действительно, она прощала его взглядом, полным непередаваемой гордости. – Но никогда, слышите, Горн, никогда Эстер не раскаивается в своих ошибках! Я не из той породы!

Горн подошел к окну, пошатываясь от слабости. У дверей тихо заржала лошадь.

Кинг! – спокойно позвала девушка. Она садилась в седло, шелестя шелковой юбкой. Горн слушал. – Кинг! – сказала снова Эстер, – ты простишь мне удары каблуком в бок? Этого больше не будет.

Легкий галоп Кинга наполнил темноту мерным замирающим топотом.

VIII

Думать о собаках не было никакого смысла. Маленькая голубая река никогда не видала их, а если и видала, то это было очень давно, гораздо раньше, чем первый локомотив прорезал равнину в двухстах милях от того места, где Горн, стоя на коленях, пил воду и золотой блеск.

Но он, стяхивая на платок пригоршню металла, добычу трехчасового усилия, неожиданно поймал себя на мысли о всевозможных собаках, виденных раньше. Он, как оказывалось, думал о догах больше, чем о левретках, и о гончих упорнее, чем о мопсах. Затем он кончил коротким вздохом; лицо его приняло сосредоточенное выражение, и Горн выпрямился, устремив взгляд к зеленым провалам леса, окутанного сиянием.

Звуки были так слабы, что лишь бессознательно могли повернуть мысль от золота к домашним четвероногим. Они скорее напоминали эхо ударов по дереву, чем лай, заглушенный чащей и расстоянием. И их было совсем мало, гораздо меньше, чем восклицательных знаков на протяжении двух страниц драмы.

Время, пока они усилились, приобрели характерные оттенки собачьего голоса и сердитую уверенность пса, запыхавшегося от продолжительных поисков, было для Горна временем рассеянной задумчивости и холодной тревоги. Он ждал приближения человека, теша себя надеждой, что путь собаки лежит в сторону. Долина реки избавила его от этого заблуждения. Она тянулась вогнутой к лесу кривой линией, и с каждой точки опушки можно было заметить Горна. Думать, что неизвестный вернется назад, не было никаких оснований.

Горн торопливо спрятал отяжелевший платок в карман, сбросил в воду куски дерна, служившего вашгердом, и, держа штуцер наперевес, отошел шагов на сто от места, где мыл песок. Сдержанный, хриплый лай гулко летел к нему из близлежащих кустов.

Горн встал за дерево, напряженно прислушиваясь. Невидимый, он видел маленькую на отдалении верховую фигуру, пересекавшую луг крупной рысью, в то время, как небольшая ищейка вертелась под копытами лошади, зигзагами ныряя в траве. Слегка разгневанный, Горн вышел навстречу. Ему казалось недостойным прятаться от одного человека, с какой бы целью тот ни приближался к нему. Он был сердит за помеху и за то, что искали его, Горна.

В этом уже не оставалось сомнения. Собака сделала две петли на месте, только что покинутом Горном, и, заскулив, бросилась к охотнику, прыгая чуть не до его головы, с визгом, выражавшим недоумение. Она могла залаять и укусить, все зависело от поведения самого хозяина. Но ее хозяин не выказал никакого волнения, только глаза его на расстоянии трех аршин показали Горну пристальными и острыми.

Горн стоял, держа ружье, заряженное на оба ствола, под мышкой, как зонтик, о котором в хорошую погоду хочется позабыть. Молодой Дрибб сдержал лошадь. Его винтовка лежала поперек седла, вздрагивая от нетерпеливых движений лошади, ударявшей копытом. Нелепое молчание фермера согнало кровь с лица Горна, он первый приподнял шляпу и поклонился.

– Здравствуйте, господин Горн, – сказал гигант, шумно вздохнув. – Очень жарко. Моя лошадь в мыле, мне, знаете ли, пришлось-таки порядком попутешествовать.

– Я очень жалею лошадь, – мягко сказал Горн. – У вас были, конечно, серьезные причины для путешествия.

– Важнее, чем смерть матери, – тихо сказал Дрибб. – Вы уж извините меня, пожалуйста, за беспокойство, – без улыбки прибавил он, разглядывая подстриженную холку лошади. – Я охотнее заговорил бы с вами у вас, чем мешать вам в ваших прогулках. Но вас не было три дня, вот в чем дело.

– Три дня, – повторил Горн.

Дрибб откашлялся, вытерев рукой рот, хотя он был сух, как начальница пансиона. Глазки его смотрели тревожно и воспаленно. Горн ждал.

– Видите ли, – заговорил Дрибб, с усилием произнося каждое слово, – я сразу не могу объяснить вам, я начну по порядку, как все оно вышло сначала и дошло до сегодняшнего дня.

Было одно мгновение, когда Горн хотел остановить его. «Я знаю; и вот что, – хотел сказать он. – Зачем? – ответила другая половина души. – Если он ошибается, не надо тревожить Дрибба».

Собака отбежала в сторону и, высунув язык, села в тени чернильного орешника. Дрибб нерешительно пошевелил губами, казалось, ему было невыразимо тяжело. Наконец, он начал, смотря в сторону:

– Вы молчите, хотя, конечно, я вас еще ни о чем не спрашивал. – Он громко засопел от волнения. – Дней пять назад, сударь, то есть эдак суток через семь или восемь после нашего праздника, я был у Астиса. «Эстер! – сказал я, и только в шутку сказал, потому что она все молчала. – Эстер, – говорю я, – ты нынче, как зимородок». И так как она мне не ответила, я набил трубку, потому что, если женщина не в духе, не следует раздражать ее. Вечером встретился я с ней на площади. «Ты не пройдешь сквозь меня, – сказал я, – или ты думаешь, что я воздух?» Тогда только она остановилась, а то мы столкнулись бы лбами. «Прости, – говорит она, – я задумалась». Так как я торопился, то поцеловал ее и пошел дальше. Она догнала меня. «Дрибб, говорит, и мне и тебе больно, но лучше сразу. Свадьбы не будет».

Он передохнул, и в его горле как будто проскочило большое яблоко. Горн молча смотрел в его осунувшееся лицо, глаза Дрибба были устремлены к скалам, словно он жаловался им и небу.

– Здесь, – продолжал он, – я стал смеяться, думая, что это шутка. «Дрибб, – говорит она, – от твоего смеха ничего не выйдет. Можешь ли ты меня забыть? И если не можешь, то употреби все усилия, чтобы забыть». – «Эстер, – сказал я с горем в душе, потому что она была бледна, как мук, – разве ты не любишь меня больше?» Она долго молчала, сударь. Ей было меня жаль. «Нет», – говорит она. И меня как будто разрезали пополам. Она уходила, не оборачиваясь. И я заревел, как маленький. Такой девушки не сыщешь на всей земле.

Гигант дышал, как паровая машина, и был весь в поту. Расстроенный собственным рассказом, он неподвижно смотрел на Горна.

– Дальше, – сказал Горн.

Рука Дрибба судорожно легла на ствол ружья.

– И вот, – продолжал он, – вы знаете, что водка бодрит в таких случаях. Я выпил четыре бутылки, но этого оказалось мало. Он был тоже пьяный, старик.

– Ланфиер, – наудачу сказал Горн.

– Да, хотя мы его зовем Красный Отец, потому что он проливал кровь, сударь. Он все смотрел на меня и подсмеивался. У него это выходит противно, так что я занес уже руку, но он сказал: «Дрибб, куда ездят девушки ночью?» – «Если ты знаешь, скажи», – возразил я. «Послушай, – говорит он, – не трудись долго ломать голову. Равнина была покрыта тьмой, я караулил человека, поселившегося на озере, тогда, в ночь праздника. Если он любопытен, сказал я себе, он придет нынче в колонию. Я обвязал дуло ружья белой тряпкой, чтобы не промахнуться, и сидел на корточках. Через полчаса из колонии выехала женщина, я не мог рассмотреть ее, но в стуче копыт было что-то знакомое». Сердце у меня сжалось, сударь, когда я слушал его. «Я чуть не заснул, – говорит он, – поджидая ее обратно. Назад она ехала шагом, это было не позже, как через час. “Эстер!” – крикнул я. Она выпрямилась и ускакала. Не она ли это была, голубчик?» – сказал он.

Горн хмуро закусил губу.

– Дальше – и оканчивайте!

– И вот, – клокотал Дрибб, причем грудь его колыхалась, подобно палубе под муссоном, – я не знал, почему не было Эстер возле меня и не было долго... тогда. Я думал, что ей понадобилось быть дома. Очередь за вами, господин Горн. Если она вас любит, станемте шагах в

десяти и предоставим судьбе выкроить из этого что ей угодно. Я пошел к вам на другой день, вас не было. Я объехал все лесные тропинки, морской берег и все те места, где легче двигаться. Затем жил два дня в вашем доме, но вы не приходили. Тогда я взял с собой Зигму, это очень хорошая собака, сударь, она водила меня немного более четырех часов.

– Так что же, – решительно сказал Горн, – все правда, Дрибб. Эстер была у меня. И не буду вам лгать, это, может быть, будет для вас полезно. Она хотела, чтобы я стал ее мужем. Но я не люблю ее и сказал ей это так же, как говорю вам.

Гигант согнулся, словно его придавило крышей. Лицо его сделалось грязно-белым. Задышавшись от гнева и тоски, он неуклюже спрыгнул на землю и, пошатываясь, стиснул зубы.

– Вы не подумали обо мне, – закричал он, – когда увлекли девушку. И если вы врете, тем хуже для вас самих!

– Нет, Дрибб, – тихо произнес Горн, улыбаясь безразличной улыбкой овладевшего собой человека, – вы ошибаетесь. Я думал, правда, не о вас собственно, но по поводу вас. Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы этот прекрасный лес сверкал тенистыми каналами с цветущими берегами и стройные бамбуковые дома стояли на берегах, полные бездумного счастья, напоминающего облако в небе. И еще мне хотелось населить лес смуглыми кроткими людьми, прекрасными, как Эстер, с глазами оленей и членами, не оскверненными грязным трудом. Как и чем жили бы эти люди? Не знаю. Но я хотел бы увидеть именно их, а не нескладные туловища, вроде вашего, Дрибб, замызанного рабочим потом и украшенного пуговкой вместо носа.

– Скажите еще одно слово! – Дрибб с угрожающим видом шагнул к Горну. – Тогда я убью вас на месте. Вы будете качаться на этом каучуковом дереве – подлец!

– О! Довольно! – побледнел Горн. Он трясся от гнева. Равнина и лес на мгновение слились перед его глазами в один зеленый сплошной круг. – Не я или вы, Дрибб, а я. Я убью вас, запомните это хорошенько, потом будет поздно убедиться, что я не лгу.

– Десять шагов, – отрывисто, хриплым голосом сказал Дрибб.

Горн повернулся и отсчитал десять, держа палец на спуске. Небольшой кусок травы разделял их. Глаза их притягивались друг к другу. Горн вскинул ружье.

– Без команды, – сказал он. – Стреляйте, как вам вздумается.

Одновременно с окончанием слова «вздумается», он быстро повернулся боком к Дриббу, и вовремя, потому что тот нажимал спуск. Пуля, скользнув, разорвала кожу на груди Горна и шелкнулась в дерево.

Не потерявшись, он коснулся прицелом середины волосатой груди фермера и выстрелил без колебания. Новый патрон магазинки Дрибба застрял на пути к дулу, он быстро попятился, раскрыл рот и упал боком, не отрывая от Горна взгляда круглых тупых глаз.

Горн подошел к раненому. Дрибб протяжно хрипел, подергиваясь огромным, неловко лежащим телом. Глаза его были закрыты. Горн отошел, вздрагивая, вид умирающего был ему неприятен, как всякое разрушение. Лошадь, отбежавшая в сторону, беспокойно заржала. Он посмотрел на нее, на собаку, визжавшую около Дрибба, и удалился, вкладывая на ходу свежий патрон. Мысли его прыгали, он вдруг почувствовал глубокое утомление и слабость. Кожа на груди, разорванная выстрелом Дрибба, вспухла, сочась густой кровью, стекавшей по животу горячими каплями. Присев, он разорвал рубашку на несколько широких полос и, сделав из них нечто вроде бинта, туго обмотал ребра. Повязка быстро намокла и стала красной, но больше ничего не было.

Пока он возился, Дрибб, лежавший без движения с простреленной навывлет грудью, открыл глаза и выплюнул густой сверток крови. Близкая смерть приводила его в отчаяние. Он пошевелил телом, оно двигалось, как мешок, наполненное острой болью и слабостью. Дрибб пополз к лошади, со стоном тыкаясь в сырую траву, как щенок, потерявший свой ящик. Лошадь

стояла неподвижно, повернув голову. Путь в четыре сажени показался Дриббу тысячетным. Захлебываясь кровью, он подполз к стремени.

Зигма, вертясь и прыгая, смотрела на усилия человека, пытавшегося сесть в седло, потеряв половину крови. Он обрывался пять раз, в шестой он сделал это удачнее, но от невероятного напряжения лес и небо заплясали перед его глазами быстрее, чем мухи на падали. Он сидел, охватив руками шею лошади, одна нога его выскользнула из стремени, и он не пытался вставить ее на место. Лошадь, встряхнув гривой, пошла рысью.

Горн, услышав топот, стремглав кинулся к месту, где упал Дрибб. Кровяная дорожка шла по направлению к лесу, – красное на зеленом, словно жидкие, рассыпанные кораллы.

– Поздно, – сказал Горн, бледнея от неожиданности.

Охваченный тревогой, он вошел в лес и двинулся по направлению к озеру так быстро, как только мог. Исчезли золотистые просветы, ровная предвечерняя тень лежала на стволах и на земле, грудь ныла, как от палочного удара. Почти бегом, торопливо перескакивая сваленные бурей стволы, Горн подвигался вперед и видел труп Дрибба, падающий с загнанной лошади среди толпы колонистов.

«Если труп найдет силы произнести только одно слово, я буду иметь дело со всеми», – подумал Горн.

Он уже бежал, задыхаясь от нервного напряжения. Лес, как толпа бессильных друзей, задумчиво расступился перед ним, открывая тенистые провалы, полные шума крови и прихотливых зеленых волн.

IX

Дверь, укрепленная изнутри, вздрагивала от нетерпеливых ударов, но стойко держалась на своем месте. Горн быстро переводил взгляд с незащищенного окна на нее и обратно, внешне спокойный, полный глухого бешенства и тревоги. Это был момент, когда подошва жизни скользит в темноте над пропастью.

Он был в центре толпы, спешившейся, щадя лошадей. Животные ржали поблизости, тревожно пофыркивая в предчувствии близкой схватки. Земля, взрытая на середине пола, зияла небольшой ямкой, по краям ее лежали грязные узелки и самодельные кожаные мешочки, пухлые от наполнявшего их мелкого золота. Тусклое, завернутое в сырую, еще пахнущую вялым мясом кожу, оно было так же непривлекательно, как красный, живой комок в руках акушерки, зевающей от бессонной ночи. Но его было довольно, чтобы человек средней силы, свалив на спину все мешочки и узелки, не смог пройти ста шагов.

Горн думал о нем не меньше, чем о себе, стиснутом в четырех стенах. Все зависело от того, как повернутся события. Он почти страдал при мысли, что случайный уклон пули может положить его рядом с неожиданным подарком судьбы, лежавшим у его ног.

Свежие удары прикладом в дверь забарабанили так часто и увесисто, что Горн невольно протянул руку, ожидая ее падения. Кто-то сказал:

– Если вы не цените вежливости, мы поступим, как вздумается. Что вы скажете, например, о...

– Ничего, – перебил Горн, не повышая голоса, потому что тонкие стены отчетливо пропускали слова. – Будь вас хоть тысяча, вы можете убить только одного. А я – многих.

Одновременно с треском выстрела пуля пробила дверь и ударилась в верхнюю часть окна. Горн переменил место.

– Право, – сказал он, – я не буду разговаривать, потому что, целясь по слуху, вы можете прострелить мне голосовые связки. Пока же вы ошиблись только на полсажени.

Он повернулся к окну, разрядил штуцер в чью-то мелькнувшую голову и всунул новый патрон.

– Подумайте, – произнес тот же голос, подчеркивая некоторые слова ударом приклада, – что смерть под открытым небом приятнее гибели в мышеловке.

– Дрибб умер, – сказал Горн. – Ничто не может воскресить его. Он был горяч и заносчив, следовало остудить парня. Я предупредителен, пока это не грозит смертью самому мне. Умер, что делать?! Собака Зигма виновата в этом больше меня: опасно иметь тонкое обоняние.

Глухой рев и треск досок, пробитых новыми пулями, остановил его.

– Какая настойчивость! – сказал Горн. Холодное веселье отчаянья толкало его к злым шуткам. – Вы мне надоели. Надо иметь терпение ангела, чтобы выслушивать ваши нескладные угрозы.

За стеной разговаривали. Сдержанные восклицания и топот шагов то замирали, то начинали снова колесить вокруг дома, ближе и дальше, ближе и дальше, вместе и врассыпную. Стеклянная пыль месяца падала у окна тусклым четырехугольником, упорно трещал камыш, словно там укладывался спать и все не мог приспособиться большой зверь. Горн плохо чувствовал свое тело, дрожавшее от чрезмерного возбуждения; превращенный в слух, он машинально поворачивал голову во все стороны, держа на взводе курки и ежесекундно вспоминая о револьвере, оттягивавшем карман.

Вдруг треснул залп, от которого вздрогнули руки Горна и зазвенело в ушах. Множество мелких щеп, выбитых пулями, ударили его в лицо и шею, кой-где расцарапав кожу.

После мгновенной тишины голос за дверью сухо осведомился:

– Вы живы?

Горн выстрелил из обоих стволов, целясь на голос. За дверью, вздрогнувшей от удара пуль, шлепнулось что-то мягкое.

– Жив, – сказал он, щелкая горячим затвором. – А ваше здоровье?

Ответом ему были ругательства и взрыв новых ударов. Другой голос, отрывистый, крикнул из-за угла дома:

– Охота вам тратить пули!

– Для развлечения, – сказал Горн, посылая новый заряд.

Шум усилился.

– Эй, вы! – закричал кто-то. – Клянусь вашей печени, которую я увижу сегодня собственными глазами, – бесполезно сопротивляться. Мы только повесим вас, это совсем не страшно, гораздо лучше, чем сгореть! Подумайте насчет этого!

Слова эти звучали бы совсем добродушно, не будь мертвой тишины пауз, разделявших фразу от фразы. Горн улыбнулся с ненавистью в душе; компания, собиравшаяся поджарить его, вызвала в нем настойчивое желание размозжить головы поочередно всем нападающим. Он не испытывал страха, для этого было слишком темно под крышей и слишком похоже на сон его одиночество перед разговаривающими стенами.

– Вы не узнали меня, – продолжал отрывистый голос. – Меня зовут Дрибб. Я так до сих пор и не видел вашей физиономии; вы слишком горды, чтобы прийти под чужую крышу. А тогда, в бухте, было слишком темно. Но терпению бывает конец.

– Жалею, что это вы, – сухо возразил Горн. – Из чувства беспристрастия вам не следовало являться сюда. Что вам сказал сын, падая с лошади?

– Падая с лошади? Но вас не было при этом, надеюсь. Он сказал: «Го...» – и захлебнулся. Вот что сказал он, и вы мне ответите за этот обрывок слова.

– Отнеситесь к жизни с философским спокойствием, – насмешливо сказал Горн. – Я не отвечаю за поступки молодых верблюдов. Конечно, мне следовало целиться в лоб, тогда он умер бы в твердой уверенности, что я убит его первым выстрелом. А нет ли здесь Гупи?

– Здесь! – прозвучал хриплый голос. Он раздался далее того места, где, по предположению Горна, стоял Дрибб.

– Гупи, – сказал, помолчав, Горн, – напейтесь идоложертвенной свиной крови!

Щеки его подергивались от нервного смеха. Визгливая брань колониста режущим скрипом застряла в его ушах. Он продолжал, как бы рассуждая с собой:

– Гупи – человек добрый.

Неожиданная, грустная радость выпрямила спину охотника; он уже сожалел о ней, потому что радость эта протягивала две руки – и, давая одной, отнимала другой. Но выхода не было. Нелепая смерть возмутила его до глубины души, он решил.

– Постойте, – вскричал Горн, – одну минуту!

Быстро, несколькими ударами топора он вырубил верхнюю часть доски в самом углу двери и отскочил, опасаясь выстрела. Но звуки железа, врубающегося в дерево, казалось, несколько успокоили нападающих, – человек мирно рубил доску. В зазубренной дыре чернел кусок мглистого неба.

– Гупи, – сказал Горн, переводя дух и настораживаясь. – Гупи, подойдите ближе, с какой вам хочется стороны. Я не выстрелю, клянусь честью. Мне нужно что-то сказать вам.

Человек, поставленный у окна, выглянул и, торопливо приложившись, выстрелил в темноту помещения. Горн отшатнулся, пуля обожгла ему щеку. Охваченный припадком тяжелой злобы затравленного, Горн несколько секунд стоял молча, устремив дуло к окну, и все в нем дрожало, как корпус фабрики на полном ходу, – от гнева и ярости.

Овладев собой, он подумал, что Гупи уже подошел на нужное расстояние. Тогда, взяв узелок с песком, весом около двух или трех фунтов, он выбросил его в дыру двери.

– Это вам, – громко сказал Горн. – И вот еще... и еще.

Почти не сознавая, что делает, он с лихорадочной быстротой швырял золото в темноту, тупо прислушиваясь к глухому стуку мешочков, мерно падающих за дверь. Слезы душили его. Маленькая голубая река невинно скользила перед глазами.

Беглый, смешанный разговор вспыхнул за дверь, отдельные голоса звучали то торопливо, то глухо, как сонное бормотание. Горн слушал, смотря в окно.

- Погодите, Гупи!
- Да что вам нужно?
- Положите!
- Оставьте!
- Эй, куда вы?
- Как, и вы? Тысяча чертей!
- А вам какое дело до этого?
- Где он взял?
- Много!
- Я оторву вам руки!
- Во-первых, вы глупы!

Характерный звук пощечины прорезал напряжение Горна. На мгновение шум стих и разразился с удесятенной силой. Топот, быстрые восклицания, брань, гневный крик Дрибба, тяжелое дыхание борющихся скрещивалось и заглушалось одно другим, переходя в стонущий рев. Почти испуганный, не веря себе, Горн хрипло дышал, прислонившись головой к двери. Он чувствовал смятение, переходящее в драку, внезапное движение алчности, увеличивающей воображением то, что есть, до грандиозных размеров, резкий поворот настроения.

Продолжительный, звонкий крик вырвался из общего гула. И вдруг грянул выстрел, после которого показалось Горну, что где-то в стороне от его дома густая толпа мечется в огромной кадрили, без музыки и огней. Он выбил, один за другим, колья, укреплявшие дверь, тихо приотворил ее, и разом исчезла мысль, оставив инстинктивное, бессознательное полусоображение животного, загнанного в тупик.

Шум доносился справа, из-за угла. Людей не было видно, они спешили покончить свои расчеты. Не следовало ожидать, чтобы они бросились поджигать дом в надежде найти там больше, чем было брошено Горном. Жестокие, нетерпеливые, как дети, они предпочитали пока видимое невидимому. Горн вышел за дверь.

Тени, отбрасываемые луной, казались черными бархатными кусками, брошенными на траву, залитую молоком. Воздух неподвижно дымился светом, густым, как известковая пыль. Мрак, застрявший в опушке леса, пестрил ее черно-зелеными вырезами.

Горн постоял немного, слушая биение сердца ночи, беззвучное, как мысленно исполняемая мелодия, и вдруг, согнувшись, пустился бежать к лесу. В ушах засвистел воздух, от быстрых движений разом зануло тело, все потеряло неподвижность и стремглав бросилось бежать вместе с ним, задышающееся, оглушительно звонкое, как вода в ушах человека, нырнувшего с высоты. Лошадь, привязанная у опушки, казалось, неслась к нему сама, боком, как стояла, лениво перебирая ногами. Он ухватился за гриву; седло медленно качнулось под ним. Торопливо разрезав привязь ножом почти в то время, как открывал его, Горн выпустил из револьвера все шесть пуль в трех или четырех ближайших, метнувшихся от выстрелов лошадей и понесся галопом, и мгла невидимым ливнем воздуха устремилась ему навстречу.

И где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла в песок, рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку.

Горн скакал, не останавливаясь, около десяти верст. Он пересек равнину, спустился к кустарниковым зарослям морского плато и выехал на городскую дорогу.

Здесь он приостановился, сберегая силы животного для вероятной погони. Слева, из глубокой пропасти ночи, со стороны озера, слышалось неопределенное тиканье, словно кто-то барабанил пальцами по столу, сбиваясь и снова переходя в такт. Горн прислушался, вздрогнул и сильно ударил лошадь.

Он был погружен в механическое, стремительное оцепенение скачки, где грива, темная, ночная земля, убегающие силуэты холмов и ритмическое сотрясение всего тела смешивались в подмывающем осязании пространства и головокружительного движения. За ним гнались, он ясно сознавал это и качался от слабости. Утомление захватывало его. Согнувшись, он мчался без тревоги и опасения, с болезненным спокойствием человека, механически исполняющего то, что делается в подобных случаях другими сознательно; спасение жизни казалось ему пустым, страшно утомительным делом.

И в этот момент, когда, изнуренный всем пережитым, он был готов бросить поводья, предоставив лошади идти, как ей вздумается, Горн ясно увидел в воздухе бледный огонь свечи и маленькую, обведенную кружевом руку. Это было похоже на отражение в темном стекле окна. Он улыбнулся – умереть среди дороги становилось забавным, чудовищной несправедливостью, смертью от жажды.

Задумчивое лицо Эстер мелькнуло где-то в углу сознания и побледнело, стерлось вместе с рукой в кружеве, как будто была невидимая, крепкая связь между девушкой из колонии и женщиной с капризным лицом, ради которой – все.

– Алло! – сказал Горн, приподымаясь в седле. – Бедняга затрепыхался!

И он спрыгнул в сторону прежде, чем падающая лошадь успела придавить его бешено дышащими боками.

Затем, успокоенный тишиной, он постоял немного, бросив последний взгляд в ту сторону, где ненужная ему жизнь протягивала объятия, и двинулся дальше.